

СОВРЕМЕННИК

Александр Вампилов

БЕЛЫЕ ГОРОДА

НОВИНКИ «СОВРЕМЕННИКА»

Александр Вампилов

Белые города

Рассказы,
публицистика



Москва . 1979

Р2
В16

Вампилов А. В.

В16 Белые города: Рассказы, публицистика. — М.: Современник, 1979. — 288 с. (Новинки «Современника»).

В эту книгу включены прозаические произведения известного драматурга Александра Вампилова. Публиковавшиеся в различных изданиях рассказы, газетные материалы, очерки впервые собраны в сборнике «Белые города».

В $\frac{70302-085}{М106(03)-79}$ 16 — 79 4702010200 Р2

Стечение обстоятельств



Солнце в аистовом гнезде

Что думает человек, который не видел ни одного живого слова, никогда не ездил в поезде, ни разу не был в театре? Что думает он, сидя на крыльце сельского клуба, нежным майским вечером? Чувствует ли он себя несчастным? Ничуть.

Он сидит на крыльце вполне счастливый, весь наполненный любопытством и удивлением прекрасным этим миром. Он готов поверить чему угодно, готов что угодно понять. Знакомый мир кончается за дальними вербами, пыльная дорога через поле ведет прямо к чудесам и открытиям.

Он подставляет теплым лучам свою белобрысую голову и ждет, не закатится ли солнце в аистово гнездо.

Он сидел здесь вчера. И вчера он ждал этого чуда. Но солнце прокатилось над полем и село где-то в дальнем лесу. Может быть, сегодня оно сядет в гнездо?

Вчера он спросил:

— В гнезде солнцу будет тесно?

Ему ответили:

— Дурак! Иди вымой руки.

Ему ответили:

— Солнце далеко. Оно никогда не сядет в аистово гнездо.

Ему ответили:

— Солнце само по себе, земля сама по себе. Если бы солнце село на землю, то все сгорело бы. Понял?

Он понял, но ему очень хотелось верить, что солнце может сесть в аистово гнездо. И он надеялся, что когда-нибудь это случится.

Так сидит он на крыльце в ожидании необыкновенного, непохожего на все, что он видел.

Когда солнце подожгло аистово жилище, к клубу подкатила машина. Витька поскакал к ней. Набежали такие же, как он, засверкали желтыми пятками. Тихим этим вечером чуда ждали все кормапайковские ребятишки: в село приезжал театр.

Машина попятилась к крыльцу, открыли борт. Из кузова появился фанерный дом, потом складной стог сена, забор, печка, прожекторы, целлофан, живописный сучок, лестница и многое другое. В конце на крыльцо шлепнулась свернутая в рулон лунная ночь. Все это унесли на сцену и закрыли занавес...

Через полчаса на пыльную дорогу выскочил красный автобус. Приехали артисты. Они покурили, взглянули на рыжий закат и исчезли на сцене.

С полей приходили зрители. Пришли девчонки из Новосельников, на машине приехали из Драготыни. Из совхоза механизатор Сашка прикатил на мотоцикле.

Небо темнело, невидимые, реяли в воздухе жуки. За клубом на траве механизаторы перестали различать масти карт.

Это был час тоски и обиды всей босоногой публики. Витька узнал, что в клуб его не

пустят, отправят спать. Но скажите, разве можно спать, когда через дорогу совершается чудо? В дырку в занавесе Витька подсмотрел нарисованную на стене луну. Он слышал на сцене таинственный, как крик ночной птицы, стук. Мог ли он теперь не увидеть всего остального?

Открыли двери. Вошли и сели в первом ряду десятиклассницы. В их руках цвели черемуховые ветви. Артисты тем временем метались в комнатушке за сценой: гримируются, с испуганными лицами бубнят роли.

Когда все было готово, вдруг погас свет. В зале было тихо, но артисты нервничали. Появился моторист и объявил, что амперметр показывает не в ту сторону. Началось исследование проводки.

— Если что, — разглаживая приклеенные усы, сказал Лобановский, режиссер и исполнитель главной роли, — покажем при керосинке.

— А лунная ночь? Она же пропадает! — испугался зав. постановочной частью.

— А грим? А нюансы? — зароптали исполнительницы женских ролей.

Тогда несколько слов сказал Иван Григорьевич Велюга, учитель и артист народного театра.

— В вашем возрасте, — сказал он и пыхнул трубкой, на мгновение в темноте серебряными искрами сверкнули его седые волосы, — в вашем возрасте я играл преимущественно при керосиновых лампах.

А в зале было тихо. В зале терпеливо ждали начала. Зрители просидели в темноте

полтора часа. Никто не ушел спать. Любопытно было в этом переполненном бревенчатом театре вспомнить разговоры о том, что театр отживает свой век.

В то время, когда в городах заканчиваются концерты, в клубе вспыхнул свет, и мятый ситцевый занавес открылся.

В половине одиннадцатого Витька сбежал со своей постели и через минуту занял место у окна, среди таких же, как он, готовых зареветь от любопытства зрителей. Витька прильнул к стене клуба. В зале было темно, а на сцене он увидел необыкновенный стог, необыкновенного человека, необыкновенное ружье. Человек вел себя необыкновенно. Все это было освещено необыкновенным ядовито-синим светом. И Витькино сердце запрыгало от предчувствия чуда.

Солнце село в аистово гнездо.

Шло второе действие. Витька и его друзья попали в зал. Завороженные, они сидели на полу у самой сцены. Зал смеялся, зал сердился. Что же будет с этим пройдохой Левоном? Что сделает Лушка? Левон ловчит, запирается, строчит доносы. Лушка не знает, что делать.

— Бросай ты его! — вдруг советуют ей из средних рядов. — Ну его, сопатого, мучиться с ним!

Припертый со всех сторон, Левон исправляется.

В середине последнего действия опять погас свет. Тут же кто-то осветил сцену электрическим фонариком.

Потом появился второй фонарик. Потом третий. Поучительную эту историю о несозна-

тельном колхознике Левоне закончили при свете электрических фонариков.

Ночь заковала в безмолвие хаты и ивы над хатами. В небе над черной землей застыл строгий месяц и замерли чистые звезды — самые совершенные декорации в самом большом, самом прекрасном, самом правдивом театре. В клубе открылись двери, переборы гармоники проткнули тишину. Запели, загалдели, ударили в бубен.

— Звезды приклеены к небу? — спросил Витька, пожиратель чудес. Он не спал.

Сугробы

Ни куста, ни пригорка, даже телеграфных столбов нет рядом. Только море снега, заунывно ровное, мертвое море. Узкая синяя дорога оцепенела, и кажется, что она никуда не приведет. Дорогу освещает маленькая тусклая луна. Озябшая, жалкая, она, кажется, ждет не дождется конца своего дежурства. А там, где сливаются небо и снег, — мрак. Попадите в такое место, пройдитесь по этой дороге ночью, и вы поймете, что такое одиночество.

Резкий, неестественно громкий скрип собственных шагов будто подгоняет Верочку Фролову, идет она быстро, почти бежит. Время от времени она оглядывается, дорога вязнет во мгле, и Верочке кажется жутким предположение вернуться, оказаться там, где она только что прошла.

Но и мороз, и волки, и три километра впереди — все это чепуха...

У Веры Андреевны горе. Ее обманули. Она долго не верила, что ее обманывали, но сегодня на станции, куда она приходила его встречать, она поняла все. В каждом письме он обещал приехать к Новому году. Правда, писем не было уже давно, но кто мог запретить Верочке надеяться. Теперь все кончено. «Дурочка, дурочка, — ругала она себя, — давно

надо было понять. Таких, как ты, — много, и они там, рядом... Зачем ему куда-то ездить...» Особенно обидно ей становилось, когда она вспоминала, как он полгода назад провожал ее сюда, в Степановку. Ссора, нежности, уговоры — все, что было тогда на перроне, все это, оказывается, обман. Нежных чувств хватило только на три письма...

Где-то в стороне послышался собачий лай и треск движка колхозной электростанции, дорога свернула туда, и через полчаса Верочка шла уже мимо первых домов Степановки.

Никто в деревне не спит, везде горит свет, но на улице пусто. Из большого дома с тополем-призраком над крышей кто-то вышел. В дверь вырвались нестройные голоса, над которыми взвился один пронзительно радостный, женский: «Парней так много ха-халастых...»— и снова тихо. Верочка вспомнила, что в этом доме живет ее ученик Коля Лохов, смешной большеголовый мальчик, у которого вторую четверть двойка по арифметике.

От крыльца клуба, украшенного еловыми ветками, ярко освещенного, отделилась фигура. Громко скрипя бурками, фигура приблизилась, и Верочка узнала счетовода Федю. Разглядев, что Верочка проходит мимо, Федя загородил ей дорогу.

— Вот, пожалуйста, только вышел, стою курю, — и вы... Это, можно сказать, судьба. Зайдемте, Вера Андреевна. Что характерно, танцы начались, музыка, общество культурное.

Федя — модник. Недавно он ездил в город и купил там черную папаху. Во всем колхозе существует только две пары бурок, у председе-

дателя и у Феди. Федя это сознает и носит их с достоинством, только по праздникам и выходным дням.

— Зайдемте, честное слово, — пристает Федя.

— Нет-нет, Федя, иди веселись. Я домой.

— Дружки мои все уже напились, а я вот... весь вечер искал вас. Если не секрет, где вы были, Вера Андреевна?

— Ходила на свидание. Прощай, Федя.

Через дом от клуба — небольшая деревянная школа. Светится только одно окно. Это не спит Михаил Зарипович, школьный сторож, грустно-старый, давно одинокий. Верочка живет тут же, в школьной пристройке.

В своей комнатке, не раздеваясь, она садится у теплой голландки и долго смотрит в серебряные окна. На столе бутылка вина, две лучистые рюмки. Двенадцатый час. «Наверное, он сейчас в белой сорочке, в красивом галстуке, кого-то слушает, кому-то улыбается. Где он сейчас? Мало ли где... Город большой... а я маленькая... Позвать кого-нибудь... Зарипыча позвать?»

Верочка сбегала и пригласила сторожа.

— Вы один, и я одна, — сказала она, — встретим Новый год вместе.

— Кому новый, а кому, может, последний, — сказал старик, но, конечно, согласился. Через пять минут он явился, чинно разделся, пригладил бороду и сел прямо к столу.

— Чего же ты одна? — спросил старик, наблюдая за Верочкой ласковым внимательным взглядом. — В клуб тебе надо. Федор тут цельный вечер крутился. Все интересовался.

— При чем тут Федор? Обманули меня, Михаил Зарипович. Обещали приехать сегодня и обманули.

— Как же так?

— Да так...

Зарипыч сочувственно насупился, Верочка не выдержала — прерываясь и всхлипывая, она рассказала старику о своем несчастье. Тот слушал, переспрашивал, выпил рюмку, налил другую.

— Так ведь нельзя, может, было приехать, — сказал он.

— Я не верю, что нельзя было. Не утешайте меня, я и вам не верю...

Верочка отвернулась от стола, положила руки на спинку стула, уронила на руки голову и затихла. Зарипычу стало ее жалко. Как успокоить человека, он знал хорошо, потому что сам нуждался в утешении.

— Чего убиваться? — начал он строго. — Со всяким бывает. Бывает и проходит. И у тебя пройдет. Еще, гляди, свидитесь... А куды вы денетесь? Звезды, к примеру взять, над вами одни и те же... Куды денетесь.

Старик увлекся и стал рассказывать про свою жизнь.

Когда он взглянул на часы, было уже без двух минут двенадцать. Верочка молчала. Зарипыч забеспокоился.

— Андреевна! — позвал он. Она не ответила. Зарипыч поднялся и заглянул ей в лицо.

— Вот тебе раз! Спит девка-то... Господи, чокнуться будет не с кем!

Она в самом деле спала. Светлая прядь шевелилась на щеке от ровного дыхания. Не-

известно, что снилось Верочке, — она улыбалась. Старик хотел разбудить ее, но раздумал.

— Ишь ты какая... — пробормотал он, — намаялась... Пущай спит, что уж...

Старик долго смотрел Верочке в лицо, потом, будто спохватившись, выпил рюмку, покосился на часы, оделся и тихо вышел.

Мгла рассеялась, луна в матовом венчике, пронзительно яркая, висела почти над головой, появились звезды. У калитки маячил уже подвыпивший Федя.

— А, лунатик! Все крутишь тут... Ну-ну. Ишь вырядился... А не мерзнешь ты в этим колпаке, а? Не холодно тебе?..

— Вы, Михаил Зарипович, старый человек, а то бы я из вас за такие слова что-нибудь сделал такое... Ни один инженер по чертежам не собрал бы. Но я относительно не этого... Вера Андреевна в настоящий момент чем занимается?

— Дурак ты, Федька. Спит она.

— Как это спит? Девушка грустит, а вам все «спит». Никаких вы тонкостей не понимаете.

— Спит, говорю... Спит, и только.

Старик вздохнул, запахнулся в полушубок и пошел прочь.

Эндшпиль

Над территорией дома отдыха висит свирепое послеобеденное солнце. Жарища. Сосны потускнели, их зелень не лоснится своим здоровым, молодым блеском. Ветви берез совсем сникли, свернулись и похожи сейчас на потрепанные веники.

Отдыхающие, полураздетые, прикрывая головы газетными колпаками, спасаются от духоты и зноя бегством на озеро, в рощу. Любая из комнат деревянного корпуса представляет собой пекло, душегубку, орудие пытки. Никому не придет в голову в этот час искать кого-нибудь в комнатах.

Но тем не менее корпус не пуст. В девятой комнате бухгалтер Кузьмин и столяр Крикунов распивают бутылку «Можжевеловой», в семнадцатой комнате, кажется, кто-то спит, а в коридоре на подоконнике играют в шахматы администратор Ильин и студент Сомов. «Можжевеловая» и сон в такую жару — тяжело, противопоказано. Но то и другое в данном случае слабость, страсть, потребность организмов. Другое дело шахматы. Можно с шахматной доской пойти на воздух, куда-нибудь в тень, к воде. Но Ильину и Сомову взбрело в головы играть именно здесь, и, изнывая от жары, поминутно прикладываясь к стоящему в коридоре бачку с водой, они тянут свою партию.

— Федор Акимович, я вижу, вам жарко. Вы плюньте — идите купаться. На ничью я согласен. Идите, честное слово, мне совестно даже...

— А вы?

— Вы на меня внимания не обращайте. Я сгоняю вес... И вообще не люблю себя распускать. Угнетаю, извините, свою плоть.

Сомов парень с манерами, с небрежностью в голосе и движениях. Он то застегивает, то расстегивает свою темно-красную рубаху. Рубаха модная, уже поношенная, слегка залита дорогим вином. Его партнер мужчина лет тридцати пяти, высокий, с заметной внешностью. Имеет красивый, вкрадчивый баритон.

— Искупаться не мешало бы. Но тащиться до озера... Лень. Убейте меня, лень!

Студент, обыгрывая Ильина, который из настольных игр более всего преуспел в преферансе, деликатно зевнул и спросил:

— Ну как, Федор Акимыч, вы не жалеете еще, что приехали сюда? Скучно ведь, а?

Ильин сочувственно поморщился.

— Да, пожалуй, скучно... Ну ничего. У всех у нас есть здесь занятие: разлениться, поправиться килограммов на пять и года на два помолодеть.

— Э! Мне все это ни к чему...

— Вот вам и скучно.

— Вам шах, Федор Акимыч... Да, уж полнеть-то в домах отдыха принято. Почти каждый считает долгом чести поправиться. Возвращается потом домой — кичится. Неприлично даже — будто бы люди приезжают специально отъедаться. Еще туда-сюда пожи-

лым и ответственным. Но девушкам-то! Заплывут, обленятся... Безобразие, как хотите! Вот эта... как она... Вербова, по-моему, имеет такую тенденцию... Кстати, как вам она, Федор Акимыч?

Ильин отвечал нехотя, стараясь не отрывать мыслей от доски:

— Вербова... Вербова. Ах да! Вербова! Это белокурая, все в ситцах щеголяет? Да как вам сказать... Хорошенькая. Колоритная даже... так сказать, в определенном жанре... Но ничего особенного я не вижу. Она как-то слишком, знаете... Мне кажется, в ней есть что-то не очень... что-то отталкивающее... впрочем, я не знаю. У вас, конечно, имеется по этому поводу свое мнение.

— Да-да, — обрадовался Сомов, — именно что-то отталкивающее. Я тоже сразу это заметил. И ведь далеко не красавица, а? А заметили, как держится? Как прима-балерина. Понимаете? Утром выходим из столовой, она впереди идет. Ну шутки тут, конечно, намеки, аллегории... специально. Она, видите ли, повела плечиком — вот так... и свернула в сторону. А ей надо было прямо идти. Понимаете? Терпеть не могу заносчивых женщин. Это ведь вредное явление. Парадокс. И потом, у ней глаза, кажется, зеленые, вы заметили?

— Нет. Знаете, меня такие мало интересуют. Не люблю таких... Объявляю шах.

Сомов закинул ногу на ногу и заговорил опять:

— Во внешности этой самой Вербовой все как-то, я бы сказал, утрировано. Приятно, конечно, когда нос чуть вздернут. Чуть! Ведь

приятно, Федор Акимыч? А у ней это слишком. Как у куклы.

— А вы представьте ее через двадцать лет? Старухой представьте. Ужас. Того и гляди, сядет на метлу и... фьють! Или дерево грызть... Ха-ха-ха!

— Да! Вчера, когда все собрались здесь поболтать, она два часа просидела в библиотеке! Скажите, что женщине там так долго делать!

— Учиться! С ее внешностью — учиться. Это единственный выход...

Партия между тем приближалась к концу. Партия выходила неблестящая. Но партнеры были друг другом чрезвычайно довольны и невольно улыбались, как это делают люди, вдруг почувствовавшие друг к другу уважение.

— Она, я слышал, диссертацию пишет. Надо же!

— Ну для женщины это последнее дело.

В эту самую минуту дверь семнадцатой комнаты отворилась, и в коридоре появилась Вербова, веселая и вызывающе хорошенькая.

Партнеры изменились в лице и почему-то оба вскочили на ноги.

— Вот, пожалуйста, — сказал студент, — взгляните... Я подойду к ней сейчас и скажу что-нибудь... дерзость какую-нибудь.

И он направился было к ней. Но Ильин схватил его за руку.

— Нет, это я скажу ей дерзость.

Вербова тем временем замкнула свою комнату и побежала по коридору. Заметив Сомова и Ильина, она улыбнулась.

— Шахматы! В такую погоду! Вы чудаки.

— А вы... — начал Сомов.

— А я иду кататься на лодке.

— Возьмите с собой меня, — вдруг сказал Ильин, — я гребу как пират.

— О! Я взяла бы вас, но меня там ждут. — Она взглянула на часы. — Уже лодка взята. Счастливо!

И она помахала им сумочкой.

— Вы, Федор Акимыч, шулер, — сказал Сомов после ее ухода.

— Мальчишка! — прошипел Ильин, собирая шахматы.

И они расстались с тем, чтобы уже больше никогда не встречаться.

Студент

Молодые листья на ветру трещат, металлически блестят на солнце. На окно ползет пышное белогрудое облако, ветер рвет из него прозрачные, легкие, как бабьи косынки, клочки и несет их вперед, в бездонную голубую пропасть.

— Молодой человек! Вам не кажется, что вы присутствуете на лекции? Да, да, вы — у окна. Вы, именно, вы! Надо встать. Я спрашиваю: вы где находитесь?

— На лекции.

— Слышали ли вы, о чем я только что говорил?

— Нет.

— А когда-нибудь вы об этом слышали?

— Не знаю.

— Товарищи, сколько раз вам повторять: я на свои лекции ходить никого не принуждаю. Неужели это так трудно усвоить? Вы, молодой человек, свободны... Нет, нет! Можете идти. Идите, идите! Не смею задерживать. До свиданья!

Он сбежал по лестнице, быстро прошел прохладный сумеречный коридор, толчком распахнул дверь и на мгновение ослеп от резкого майского солнца.

День не жаркий, ветер ровный, бодрый, с запахом реки и черемух, без конца идут быст-

рые плотные тени. Напротив в сквере струится зеленый поток березовой листвы, за ней качается серебряная челка фонтана. Ветер бросает струи воды мимо каменной чаши, далеко на асфальт стелется белый водяной дым, под ним визжат, носятся голоногие девчонки.

Студент перешел улицу, в лотке у сонного небритого дяди купил сигарет и побрел вдоль сквера, лениво ступая на черную узорчатую тень чугунной ограды.

Он уже забыл про лекцию, про психоватого доцента. С самого утра в голове сидело одно и то же — строчки своего вчерашнего письма: «...Поклонников у вас много, но люблю вас один я. Для того чтобы вы мне поверили, я сделаю все. Что дальше — решаете вы, но это свидание неизбежно».

Он не спешил. Доцент позаботился о том, чтобы он не спешил. Но лучше бы он торопился — тогда не исчезла бы та шальная самоуверенность, которая пришла к нему на лекции, у окна.

На набережной многолюдно. Молоденькая мать катит по улице синюю коляску, у воды, будто лунатики, туда и обратно ходят, трещат рулетками рыбаки.

Он спустился к самой воде, присел на бетонную ступеньку.

Река несется навстречу облакам, темная у того берега, здесь, под ногами, неправдоподобно прозрачная. С той стороны уютно — зеленое предместье, обросшее садами и аллеями, сползает к реке желтыми тропинками улиц.

«Люблю вас один я...» Это, видимо, глупо и, кажется, сентиментально. А что делать?

Любовь — не моя затея... Она — знаменитость — вот в чем дело... Черт дернул ее быть артисткой да еще знаменитой! Все было бы проще. И эта записка не казалась бы глупой. А что делать? Надо встретиться. Надо сказать слова, которые не скажет ей никто, кроме меня.

Река слепит солнцем, сияет голубизной. И шумят над головой молодые тополя. Но река — сама собой, ты — сам собой...

Она пришла. Она остановилась в десяти шагах, яркая, беспощадно красивая.

Она не одна. Рядом высокий в белом. Он безучастен, но смущен. Он прикуривает папиросу, дает понять, что явился сюда помимо воли и ему все это ни к чему.

Студент поднялся. Может быть, подниматься было рано. Может, надо было подождать, когда они подойдут ближе.

— Это, конечно, вы. Явились, значит. Очень приятно.

Она разглядывает его в упор, подробно, с откровенным пренебрежением.

— Слава богу, вы, я вижу, человек взрослый и кое-что, видимо, поймете... Вы пишете, что готовы на все. Вот что, молодой человек. Сделайте вы мне две услуги. Во-первых: не ходите больше в первый ряд — вы меня раздражаете. Во-вторых: не присылайте мне ваших сочинений. Они мне не нужны. Написали одну записку — хватит... Зачем же четыре?

— Ну-ну, пустяки. Зачем же так резко? Кто из нас не писал посланий? — высокий показал зубы, сочувственно подмигнул.

— Нет! С меня хватит разных дурацких писем. Они мне надоели! Молодому человеку

надо дать понять, что его письма не приведут ни к чему, кроме скандала.

— Ну, это лишнее. Молодой человек, не придавайте этому большого значения. Она актриса трагическая, ничего не поделаешь. К тому же сегодня она не в духе.

Надо крикнуть, надо выругаться, надо разбить эту фальшивую улыбку. Но руки скрутила противная, гипнотизирующая слабость. В голове шум тополей. Он взглянул ей в глаза — вот они, совсем рядом, злые, чудесные — и деревянным, унизительно чужим голосом произнес:

— Все это забавно... Но вы меня с кем-то путаете. Я вам писем не писал... Все это очень забавно...

Он видел только, как дрогнули ее брови. Слышал уже за спиной ее голос...

Потом он ходил по горячим пыльным тротуарам, пересекал веселые скверы, стоял на мосту и снова шагал по серым улицам, завороженный тоской, стыдом и отчаянием.

«...Что делать? Все изменилось. Все совсем изменилось»... Что-то надо делать, какая-то сила настойчиво и дерзко стучала в висках: что-то надо делать.

Вечером, когда он снова оказался у реки, он почувствовал себя непонятно. На том берегу была уже темнота. Деревья и крыши торчали сплошным черным частоколом. Над ним, между рваными синими тучами, опоясанными малиновыми лентами, зияли бледно-зеленые просветы, ошеломляющие, обыкновенные, виденные на закате тысячу раз, минутные и вечные следы прошедших дней. Внизу в заливе плескались три лодки. Парни без устали ма-

хали веслами, слышался счастливый визг. Одна из лодок наткнулась на малиновую дорожку заката, дорожка оборвалась, по ней пошла сверкающая дрожь. И все это ему неожиданно показалось неотделимым от его тоски.

Нагрянула вдруг жажда пережить такую же пустую визгливую радость, хотелось без конца видеть этот минутный малиновый свет, оказаться на том берегу, в темноте, легким и быстрым шагать в гору мимо сада, задевая висками прохладные черные ветки.

Он жадно всматривался в огни, вспыхивающие на том берегу, ежился от холодка реки и думал, и чувствовал.

Через час он вошел в маленькую комнату на окраине. Глянул в окно, в глубокую, невысказанную ночь, сел к столу и, не отрываясь, черкая, комкая и выбрасывая листы, писал.

Кончил он утром. Встал, распахнул окно, с мучительным наслаждением вдохнул пахучую утреннюю сырость, сделал по комнате два шага и, не раздеваясь, рухнул на жесткую узкую кровать.

Ветер тихо постукивал раскрытыми оконными створками и смахнул со стола несколько исписанных энергическим почерком драгоценных листов.

Листок из альбома

— Чем бы вас занять? — сказал мой новый знакомый Евгений Сергеевич Потерин, морща лоб и обшаривая свою комнату пренебрежительным взглядом.

— Вот хоть это, — он сунул мне в руки небрежно выдернутую из этажерки штуковину в бархатном переплете и пошел к двери.— Взгляните пока. Глупейшая вещь, женская литература. Сам никогда до конца не смотрел. Я сейчас вернусь.

Евгений Сергеевич пошел за пивом. Его жена Таисия Григорьевна хлопотала на кухне. Таисии Григорьевне лет тридцать пять, но ее красота еще очевидна. И меня удивили ее грустные глаза — редкость и неожиданность у хорошенькой женщины.

В моих руках оказался альбом со стихами. Как полагается, он был напичкан нежной лирикой, начиная с пылкого Катулла и кончая Степаном Щипачевым. Я нехотя полистал.

Последней страницей альбома оказался вклеенный в него небольшой листок, исписанный мелким почерком. Когда-то измятый, теперь тщательно выровненный, склеенный из двух частей, выцветший — этот листок заинтересовал меня своей интимностью.

«Я не могу больше любить так мучительно и так униженно. Мне трудно видеть тебя и

ждать от тебя всякую минуту признания в том, что ты меня не любишь.

Прощай! Будь счастлива — у тебя для этого есть все и нет больше того нищего, при котором неудобно дарить свою любовь кому-нибудь другому.

Прощай! В конце мая сходи за город, туда, где мы были год назад и где с тобой были еще твои сомнения, со мной — мои надежды. Взгляни, как тают белые цветы, вздохни и все забудь».

Я с любопытством перечитал все это еще раз.

— Ха-ха. Не поверите — это я написал, — вдруг раздался у меня за спиной голос вернувшегося Потерина.

Я взглянул на него с удивлением. Всегда насмешливый, далекий от разных нежностей, Потерин олицетворял собой здравый смысл.

— Что, не похожу на Вертера? Ха-ха-ха!.. А ведь было, было... — продолжал Потерин, разливая пиво. — Хотите расскажу? Обед еще не скоро.

— Эй, живее там! — крикнул он жене, которая на кухне приятно побрякивала посудой. — Пейте пока пиво. Свежее, из персональной, можно сказать, бочки... Так вот... Послушайте: поучительно, а главное — беспримерно глупо... Начался этот водевиль, когда мне было девятнадцать лет. Конечно, в девятнадцать лет всем положено любить и страдать, но я любил и страдал не как все.

Я смотрел на всех своих знакомых влюбленных критически, с такой демонической усмешечкой. Мне казалось, что они любят не так, как надо, опошляют любовь, делают из этого

праздника человеческих чувств серые скучные будни и все в таком духе. Про себя составил я что-то вроде идеала любви и решил его осуществить. А кто, вы скажите мне, имеет ясное представление о том, какой в этом должен быть идеал? Вообще, кто может верно и категорически судить о любви? Сколько соображающих людей, столько и взглядов, и мнений. И о любви судят особенно необъективно.

Ну, а мое представление о любви состояло, конечно, сплошь из иллюзий... И вот появилась «она». Я был страшно придирчив, но она понравилась мне сразу. Красивая, юная, нежная. Чиста, как снег в семи километрах от города.

О своей внешности я был самого неопределенного мнения, а между тем был недурен. Кроме того, щелкал соловьем, оригинальничал, острил — одним словом, был способен нравиться.

Началось как обычно, время будто бы случайных встреч, сомнений, догадок, желания видеть друг друга во сне и сразу после сна... Мы познакомились, и я стал думать о ней от свидания до свидания. Разумеется, на свидании я тоже думал о ней. Когда я сказал, что люблю ее, это было уже так очевидно, что признание мое оказалось только формальностью. Она же была романтиком и ничего, конечно, не знала и ничего не могла мне сказать. Впрочем, она говорила что-то о товарищеском отношении, но при чем тут товарищеское отношение?

Любить тогда для меня значило говорить нежности и делать глупости. Мало того, я боготворил ее, возводил в степень, семенил

вокруг нее мелким бесом и рассыпался перед ней мелким бисером.

А это-то и гибельно. Я ей нравился, но как только она убедилась в том, что я люблю ее и в доску постоянен, она стала относиться ко мне все небрежнее. Сердиться я на нее не мог — у меня только портилось настроение.

Сначала она ссорилась охотно и весело, находя в этом удовольствие сытой кошки, заигрывающей с затравленной мышью, но потом ссоры стали жесткими и злыми, дольше длились и с трудом прекращались моими усилиями.

Я весь, мои дела, мои убеждения зависели от ее настроения. У самой у ней не было ни убеждений, ни мыслей — один только характер. Характер скверный. В ее голове ничего интересного, кроме капризов, не было, правда, капризы эти всегда поражали своей виртуозностью. Исполнение ее любого желания — это то, что неизбежно должно быть — как зимой снег. Даже когда она любила меня, она могла бы меня поменять за леденец, если бы очень его захотела.

И глупее всего то, что меня все эти каприччиозы восхищали, приводили в какой-то идиотский трепет. Я так захлебывался от восторга, так млел от обожания, что даже теперь еще совестно.

Больше года она водила меня за нос, потом ей это надоело, и она прогнала меня.

Я вбил себе в голову, что я замечательно несчастлив, писал нежные и грустные стихи, стал худеть и подумывал о самоубийстве. Несколько раз я встречался с ней под разными и подлыми предлогами, писал унизитель-

ные письма вроде этого листка и окончательно ей надоел. В последнюю из таких встреч она сказала мне: «Все кончено. На следующее свидание приглашу милиционера».

Никогда не забуду этого вечера. Разговор происходил во дворе ее дома. Я пресмыкался и просил ее выслушать меня.

Если вы когда-нибудь были идиотом, то знаете, как может женщина унизить человека. Она вообразила себе, что ей противно находиться со мной лишнюю минуту, и хлопнула дверью. Противно! От меня, извините, ничем не пахло. Сразу же я услышал за дверью смех. Смеялась она и ее подруга. Смех этот страшно резанул по моей психике, и тут я почувствовал, что из моей души вдруг выпала какая-то большая деталь.

Не помню, как я удалился со двора.

Неопределенное время я просидел на скамейке в пустом сквере, а когда поднялся, то почувствовал, что любовь моя кончилась.

Она вытравила во мне «всю пылкость, все страсти души» и прочие глупости. Она воспитала во мне юмористическое отношение к женщине. На следующий день я написал ей: «Если нравится быть жестокой — вешайте собак или распределяйте стипендию» — что-то в таком духе.

Сам себе я сказал: «В твоей любви не было радостей — в твоей жизни не должно быть скуки. Скука недопустима». И зажил весело и беззаботно, как это возможно студенту средней обеспеченности. Замелькали разные лица, но я в них уже не всматривался. Я любил и пользовался взаимностью, но любил уже без всяких идеалов, без замира-

ния в сердце и всего такого прочего. И вот...

В комнату вошла Таисия Григорьевна, постлала скатерть и стала накрывать на стол. Потерин, будто не замечая ее, продолжал, солидно отпивая из кружки, которую я периодически наполнял:

— Вы никогда не встречали учебника женской логики? Нет такого? А почему? Такой учебник мог бы написать любой бухгалтер в перерыве между составлением двух отчетов. Ничего нет проще: все шиворот-навыворот, и только. Женщины сами распространяют слух о том, что их логика непостижима. На самом деле их поступки и мысли прямолинейны как телеграфный столб.

Так вот, когда я уже откровенно зубоскалил над возвышенными чувствами, верностью и голубиным счастьем, она вдруг пришла ко мне и принесла мне свою любовь, раскаяние, покорность, слезы и желание не разлучаться.

И вы знаете... Я женился на ней. Да, да, не удивляйтесь — это Таисия Григорьевна. Как это вышло, не знаю, но только хорошо сознавал и сознаю, что я ее тогда не любил. Да... Женился, может быть, из мести, а может быть, из уважения к своим юношеским заблуждениям. Страшно глупо. Она, кажется, любит меня и теперь. Мне безразлично, скандалов я не устраиваю, я только ограничиваю ее во внимании ко мне. Характер ее изменился до неузнаваемости, и, знаете, она отлично готовит обед. Вы сейчас в этом убедитесь.

За обедом он вдруг спросил Таисию Григорьевну:

— Я как-то все забываю поинтересоваться... Ты счастлива со мною?

Таисия Григорьевна вздрогнула и, глядя на меня и неловко улыбаясь, проговорила:

— Евгений Сергеевич всегда шутит так неожиданно...

— Счастлива, тебя спрашиваю, или нет? — беззастенчиво повторил Потерин.

Таисия Григорьевна перестала улыбаться и опустила глаза.

— Разумеется, я счастлива, — сказала она.

Последняя просьба

Николай Николаевич Смирнов был уверен, что до следующей весны он не доживет.

— Скоро умру, — говорил он, вздыхая и виновато поглядывая на свою дочь Лидию Николаевну, которая убирала его комнату.

— Что ты! Живи до ста лет, — машинально отзывалась Лидия Николаевна, стирая пыль с книжного шкафа.

До ста лет оставалось не так уж много. В начале осени Николай Николаевич почувствовал, что ходить он уже вовсе не может.

Только крайняя беспомощность и совершенная безнадежность порождают желание умереть. Вконец одряхлевший, совсем бессильный Николай Николаевич имел и надежду и жгучее, как у юноши, желание, чтобы надежда эта оправдалась. Ему хотелось дожить до весны. Хотелось еще раз увидеть на столе цветущую сирень, услышать весенних птиц, ему хотелось в зеленый рай — в березовую рощу, которая начиналась почти сразу от окна его комнаты.

Но за окном березы прогорели бледнı пламенем осеннего заката, а скоро пришел сразу взбесился лютый зимний месяц кабрь. Чьей-то одинокой, брошенной душ взвыли ошалелые метели, вселяя в сердце тоску по ласковым весенним дням.

Николай Николаевич и его дочь жили

вдвоем. Муж Лидии Николаевны умер, а дети, которые все уже были взрослыми, жили разными семьями и в разных местах. Николай Николаевич знал, что, когда он умрет, Лидия Николаевна уедет к своему старшему сыну.

Вечерами Лидия Николаевна садилась на край кровати и спрашивала, не хочет ли чего отец. Николай Николаевич отвечал, что ничего не надо, что надо бы давно умереть, говорил, что он замучил ее, но что терпеть ей осталось совсем уже немного. Лидия Николаевна сердилась и всхлипывала. Тогда Николай Николаевич делал слабое движение своими почти обескровленными руками, Лидия Николаевна осторожно опускала голову к его груди и тихо плакала, и у Николая Николаевича разбегались по морщинам две-три пресных старческих слезы.

Бывали врачи, но Николай Николаевич был уверен, что они не лечат его, а только делают вид, что лечат. «Вы знаете, и я знаю: старость неизлечима», — говорил он им.

Раз к нему заходил сын Сергей. Сергей Николаевич был очень серьезный и очень занятой человек. Часто приходить он не мог.

Он пришел поздно вечером, с папкой под мышкой, не разделся, а только снял шляпу и смял ее в своих сильных руках.

Перед его уходом Николай Николаевич расхрабрился на шутку, которая, в сущности, была вовсе не шуткой.

— Не хочу умирать зимой, — сказал он. — Хочется покинуть этот мир в цвету, чтобы оставить о нем хорошее впечатление.

— Ты еще молодец. Мы с тобой еще на уток пойдем, — улыбнувшись, сказал Сергей,

но Николаю Николаевичу показалось, что говорил он это вяло и бесчувственно...

Николай Николаевич возненавидел зиму за то, что зимой хорошо только здоровым и сильным, за то, что зимой нельзя открыть окно, за то, наконец, что зима так долго тянется. Ему стало казаться, что не старость, а зима отняла у него все и оставила одни только воспоминания, которые тоже отнимают силы, но от которых становится грустно и хорошо.

Но Николай Николаевич так и не мог привыкнуть жить одними только воспоминаниями, он ждал весны.

И весна пришла. Николай Николаевич давно уже следил за большой сосновой веткой, которая заглядывала в окно его комнаты. И вот солнечным мартовским полднем ветка сбросила с себя белую, великолепную, но, правда, давно уже дырявую шапку.

Николай Николаевич попросил устраивать его в кресле и подолгу просиживал теперь у окна.

За окном зима одну за другой сдавала свои позиции. Сначала почернели натоптанные прохожими тропинки через рощу, потом стали появляться желтые пятна проталин, и, наконец, вся земля предстала перед глазами такой, какой застал ее первый снег...

— Как хорошо! — сказала Лидия Николаевна, в первый раз открывая окно, когда роща уже чуть повеселела издалека еще незаметной зеленью.

Но в душе Николая Николаевича не было той радости, какую он ожидал с приходом весны. То, что он ждал, пришло, но это оказалось не тем, чего он хотел. Он хотел жить.

«Пройдет весна, — думал он, — высохнут цветы, а жизнь будет продолжаться. И она хороша всегда и везде: и в цветущем саду, и на занесенной метелью дороге, и даже у окна в кресле, с которого нельзя подняться...»

У большой старой березы почти каждый вечер встречались девушка и молодой человек, по-видимому, влюбленные.

Николай Николаевич любил наблюдать эти встречи, привык к ним, думал о них. Почти каждый вечер он говорил Лидии Николаевне: «Лида, посади меня к окну, я опаздываю на свидание», — и смотрел в рощу до тех пор, пока сумерки не съедали и рощу и две фигуры у старой березы. Они ему даже иногда так и снились: девушка сидела, прислонившись к стволу березы, а молодой человек стоял, упершись головой в толстый сук и держась за него обеими руками, и смотрел на девушку.

Но как-то Николай Николаевич заметил, что молодые люди вдруг стали посещать рощу в разное время. По всем признакам это была ссора.

«Какие глупые и какие счастливые, — думал Николай Николаевич. Они страдают, ходят в разное время в одну и ту же рощу, но они молоды и... звезды над ними одни и те же».

В первый душный день перед первой грозой старость и болезни обступили постель Николая Николаевича, протягивая к нему свои костлявые руки. Николай Николаевич задыхался.

— Лида, — сазал он, с трудом отыскав среди тяжелых видений бледное лицо доче-

ри, — позови Сережу... Сейчас же... в последний раз...

Ударил гром, и за окном началась бешеная пляска стихий. Порывы ветра гулко разбивали об оконное стекло тяжелые струи воды. Роща стонала, выла, всхлипывала. У Николая Николаевича стучало в висках, но дышать стало легче.

А когда гроза кончилась, Николай Николаевич почувствовал себя так хорошо, так легко, что вдруг сел в постели и бодрым голосом потребовал:

— К окну!

Испуганная Лидия Николаевна запротестовала.

— В кресло! — повторил Николай Николаевич твердо. — И открой окно настежь. Я здоров, и мне кажется, что я молод.

Он сидел у окна улыбаясь, и действительно, на душе у него было так радостно и спокойно, будто ему двадцать лет и он только что помирился с любимой девушкой.

Прошедшая гроза — праздник всего зеленого мира. Солнце еще не закатилось, и необсохшая роща ликовала в пронизывающих ее лучах. Николай Николаевич видел, как у ближних деревьев вздрагивали нижние листья от падающих с мокрой листвы капель.

У старой березы стоял молодой человек. Николай Николаевич взглянул на часы, которые давно уже велел поставить на подоконник. Молодой человек должен был скоро уйти, а через полчаса должна была прийти девушка.

Скоро вошел запыхавшийся и растревоженный Сергей.

— Отец! Ну как ты? — спросил он, быстро приближаясь к креслу. Отец и сын поцеловались.

— Я звал тебя, Сережа... — спокойно заговорил Николай Николаевич. — Мне кажется, я... — Николай Николаевич замолчал, повернулся лицом к окну и несколько мгновений глядел в рощу.

Когда он снова посмотрел на сына, Сергея Николаевича удивил необычный, давно уже не появляющийся живой и веселый взгляд отца. Николай Николаевич тихо сказал:

— Сережа, ты видишь вон там в роще парня? У большой березы. Иди и скажи ему, чтобы он задержался там на полчаса... — И, глядя на недоуменное лицо Сергея Николаевича, продолжал: — Да, да. Сходи и скажи ему, что это очень нужно. Пусть подождет.

— Отец... — начал обеспокоенный Сергей Николаевич.

— Нет, нет... Я в своем уме, — перебил Николай Николаевич. — Сходи... я прошу тебя... иди, иди...

Пожимая плечами и оглядываясь, Сергей Николаевич вышел из комнаты.

Окно было открыто настежь, и комнату заполнял неповторимый запах обновленной грозой березовой рощи.

Николай Николаевич сидел в кресле, слегка склонившись в сторону. Черты лица его застыли в спокойном, осмысленном движении.

Вернувшийся Сергей не сразу понял, что Николай Николаевич умер.

Девичья
память

Альберт Дрынов, живой, модно одетый юноша, полвечера провертевшись вокруг Наденьки Накидкиной и протанцевав с ней два быстрых танца, изловчился проводить ее домой.

Танцуя с Дрыновым и принимая из его рук свое пальто, Наденька молчала и только несколько раз неопределенно улыбнулась, что восприимчивый Дрынов истолковал так: «Вы мне нравитесь, но я вас совсем еще не знаю».

Дорогой он выказывал все признаки скоропостижной влюбленности: старался заглянуть Наденьке в глаза, упражнял свои легкие глубокими вздохами и говорил не останавливаясь:

— ...Вообще я против танцев ничего не имею. Если на то пошло, так и Ромео с Джульеттой на танцах познакомились. Это уж так заведено... Вы знаете, мне кажется, я вас где-то видел. Серьезно. Вы, наверное, учитесь где-нибудь? В институте? Девушка с вашей внешностью может смотреть на жизнь с легкой улыбкой. Лично я для вас бы все сделал... Вам, конечно, еще и двадцати нет. Можно сказать, возраст любви.

Не бегите так. Послушайте, вы мне серьезно нравитесь. Меня поразили ваши глаза. Мне кажется, я уже видел эти глаза... Зна-

ете, такое приятное и... возвышенное ощущение, даже мороз по шкуре идет. Я впечатлительный — я жениться могу. Вот до этого у меня никаких чувств: ни любить, ни радоваться—нехорошо даже. А сейчас в моей душе что-то вроде эпохи Возрождения, как это... э... Росинант. Да, Росинант! Я сам себя не узнаю. Вы не подумайте, что я это все так только говорю. Я гораздо серьезнее, чем вам кажется. Это я с виду только беспечный, а на самом деле у меня на душе, может быть, кошки скребут. Я чувствую, что и я могу всяких дел наделать, но, знаете, мне не хватало стимула, э... предмета, который воодушевлял бы меня на что-то такое... Одним словом, я страшно рад, что встретил вас. Мне вас не хватало. Видимо, потому мне и мерещились ваши глаза. Мне сейчас даже удивительно — почему это судьба так медлила с нашей встречей... Вот мы идем с вами в первый раз, а мне кажется, что я уже сто лет здесь с вами ходил. Ваше имя...

Но тут Дрынов вспомнил, что не знает еще имени этой девушки.

— Топор! — воскликнул он с раскаянием. — До сих пор я не знаю вашего имени! Но это от волнения. Простите... как вас зовут?

— Мы с вами знакомы, — сказала девушка. Весь монолог она неопределенно улыбалась, но теперь по лицу ее скользнула убийственная насмешка.

— К-как знакомы? — удивился Дрынов.

— Да так. Вы провожали меня с танцев два месяца назад. За это время вы хорошо сохранились, если не считать, что у вас

отшибло память. Прощайте. И запомните — Ренессанс, а не Росинант. Я и в тот раз вас поправляла, — проговорила она и свернула в большие каменные ворота.

Свидание

(Сценка из нерыцарских времен)

Майский день. Тихая городская улочка. В тени двухэтажного дома сидит сапожник, последний из кустарей-одиночек. Это бородатый благообразный старичок с задатками интеллигентности, трезвый, в хорошем настроении. Перед ним табуретка, инструменты — все в образцовом порядке. К нему подходит молодой человек в сером пиджаке и обуженных в мастерской брюках.

Студент. Здравствуйте!

Сапожник. Добрый день!

Студент. Изнываете без работы?

Сапожник. Прячусь от жары. В моих башмаках нет такой роскошной вентиляции...

Студент (*усаживаясь на табурет и снимая ботинки*). Досадная случайность. Привычка ходить не глядя под ноги... Эти штиблеты должны жить во что бы то ни стало.

Сапожник. Ты хочешь сказать: во что бы это тебе ни стоило? (*Осматривает штиблеты.*) Операция рискованная...

Студент (*поспешно и категорически*). Десять рублей!

Сапожник. Сколько?

Студент. Десять. И то из сострадания к безработным хирургам.

Сапожник. Тридцать рублей. Из сочувствия к городскому порядку.

Студент. Только десять.

Сапожник. Тогда давай своим ботинкам порошки — по три раза в сутки... И по-

том, мне кажется, я чинил эти штиблеты кому-то другому.

С т у д е н т. Но-но!

С а п о ж н и к. Пришить, подбить, поставить набойки — тридцать рублей!

С т у д е н т. Ну, хорошо... Среднее арифметическое между десятью и тридцатью — двадцать рублей. Чините, черт с вами! Но условие: как можно быстрее. Промедление смертельно.

С а п о ж н и к. Что ж, давай. Я воспитан по-старому.

С т у д е н т. Что-то мне сдается, что вы, папаша, сидите на чужом месте.

С а п о ж н и к *(принимаясь за работу)*. Почему это на чужом? Место самое мое. Где еще сидеть шестидесятипятилетнему пенсионеру, изнывающему от скуки жизни? Здесь светит солнце, ходят люди... Гляди, девушки-то, девушки-то, так и шьют, так и шьют!

Проходящая мимо д е в у ш к а, коротко подстриженная и модно одетая, вдруг вскрикивает и приседает на тротуар.

Д е в у ш к а *(с отчаянием)*. Каблук! *(Осматривается.)* Сапожник! Как удачно!

С а п о ж н и к *(любезно)*. Очень удачно!

Д е в у ш к а *(подходя, поглядывая на часы)*. Оторвался каблук, прибейте, пожалуйста.

С т у д е н т. Вы видите, мастер занят.

Д е в у ш к а. Но надеюсь, вы уступите. Мне ужасно некогда.

С т у д е н т. Мне тоже некогда.

Д е в у ш к а. Но войдите в положение.

С а п о ж н и к *(девушке)*. Разрешите вашу модель...

Студент. Ни в коем случае! Я опаздываю.

Девушка. Вы не имеете права... Мастер согласен.

Студент. Зато я не согласен. Присядьте... то есть вам придется постоять.

Девушка. Благодарю... Поймите, меня ждут...

Студент. Очень рад за вас... *(Смотрит на часы.)* Поторопитесь, патриарх.

Девушка *(смотрит на часы, нервничает)*. Я не говорю уж о благородстве, но элементарная вежливость, порядочность...

Студент. Вежливым и предупредительным с вами будет тот, к кому вы торопитесь. Он, и никто другой. Я же не вижу в этом никакого смысла. Другое дело, если бы вы мне понравились...

Девушка. Ну знаете ли! Вы, вы... *(Нервничает, ломает руки. Тихо.)* Ну хорошо... Я прошу вас, вы понимаете, прошу... Я даже признаюсь вам... мне нельзя опоздать. Решается судьба, от этих минут зависит счастье...

Студент. Не нервничайте. Мое счастье, может быть, тоже зависит от этого вот гвоздя. А почему вы думаете, что ваше счастье лучше моего? *(Сапожнику.)* Скажите, патриарх, сколько вам лет? Вы, наверно, успели уже заметить, что взаимоотношение полов состоит из предрассуков и заблуждений. Оттого, что какой-то болван тысячелетие назад взял манеру бренчать под окном капризной особы на гитаре, прикладывать руку к сердцу и прочее, я должен сейчас уступать во всем каждой женщине. И, заметьте, женщины

уже не ждут проявления чуткости, томно закатив глаза, а требуют, кричат и грозят судом. Не уступите в автобусе места — и вас назовут невежей, хамом и кем угодно. *(Смотрит на часы.)* Вот, скажем, вы. Вы пристаете ко мне с нелепым требованием: «Уступите мне свое счастье!» С какой стати! Я не могу, не имею возможности быть чутким и нежным со всеми девушками, починяющими обувь у частников. Не нервничайте. Вас ждет феодал с гитарой. Вы, я полагаю, понравитесь ему и без каблука. Спешите — вейте из него веревки, гните в бараний рог. Но при чем здесь я?

Девушка *(сапожнику)*. Прибейте этому молодому человеку язык.

Студент. Вам нечем будет за это заплатить. *(Смотрит на часы.)* Поторопитесь, патриарх! Осталась минута!

Сапожник. Дети, разве можно заходить так далеко с самого начала?

Девушка. Для таких нахалов не бывает начала.

Студент. Вы хамеете на глазах...

Девушка *(вспыхивая)*. Нет, это вы — хам! *(Сапожнику.)* Сколько минут ходьбы до памятника Крылову?

Студент *(с ужасом)*. Крылову?

Сапожник. Пять, не больше.

Девушка *(смотрит на часы)*. Опоздала! *(Всхлипывая.)* Вы... Вы самый наглый хам...

Студент *(бледнея)*. Вы... Вы — Лиля?..

Девушка *(нервно)*. Что! Так это вы... Ха-ха-ха! Чудесно! Ха-ха-ха... Прощайте! Не смейте звонить! *(Быстро уходит.)*

Сапожник. В чем дело? Обувайся, беги за ней...

Студент (*бормочет*). Девушка с нежным голосом... Гордая любовь... Первая встреча...

Сапожник (*краснея от любопытства*). В чем дело?

Студент (*кричит*). В чем дело! В чем дело! Дело в том, что свидание состоялось. Первое свидание! Три месяца я упивался этим голосом, боялся дышать в телефонную трубку. Почти признался в любви, боготворил... Гордая и таинственная. Едва вымолил свидание...

Сапожник. Хе-хе... Феодал рвет струны...

Студент. Молчи, старый пират! Черт посадил тебя сюда! Разрешают же частные лавочки.

Месяц в деревне, или Гибель одного лирика

(Трагическая сцена-монолог)

Сентябрь. Колхозная сушилка. Сквозь стену, требующую капитального ремонта, проглядывает осенний вечер. Вороха зерна, клейтон, бункера, совки и прочее. Работа окончена. Тихо и пусто.

Из кучи мякины появляется Виктор Рассветов, студент лет двадцати. В городе он занимается сочинением стихов для своей знакомой (которая, кстати, тоже приехала в колхоз). Хочет стать поэтом, но не имеет для этого ничего, кроме маниакального желания. Ночами просиживает над экспромтами. Здесь он не причесан и не брит, в одежде нехудожественный беспорядок.

Рассветов *(стряхнув пыль с ушей)*. Так... Только это мне и оставалось: выспаться в мякине. Теперь еще пожевать овса и можно запрягаться в фургон. *(Осматривается.)* Труженики ушли. Завалили, мерзавцы, мякиной и ушли. Сейчас будут танцевать под двухрядную гармонику. Как они могут! В телогрейке, в сапогах... *(Паясничает.)* Разрешите вас ангажировать на мазурку. Пардон, я отдавил вам ножку... Как могут! Но главное! Она-то, она! Сегодня я видел, как она грызла кость. Урчала и чавкала, как голодный динозавр. Это она, та, около которой я боялся дышать, чтобы не сдуть, как пушинку, с которой я говорил только рифмами, чтобы не оскорбить ее слуха. Родная сестра Лауры, Беатриче, Керн, она ворует дрова и ругается с кладовщиком, который вместо междометий употребляет самые последние ругательства. Вче-

ра она заработала два трудодня и... сколько радости, какой восторг!.. Два трудодня — праздник души, именины сердца! Тьфу! Когда я читал ей самые красивые и самые нежные свои вещи, она не улыбалась так, как улыбалась на комплимент Яшки-механизатора насчет того, что она сама завела зернопогрузчик. Где мы встречаемся! Ха-ха! Сцена на току, свидание на сушилке, мимолетная встреча вечером у пилорамы. Ха-ха-ха! *(Поет на мотив фокстрота «На карнавале».)* «На пи-ло-ра-ме под сенью ночи...» *(Вдруг задумывается, потом садится и переобувается. Вздыхает.)* Все наводит на размышление о бренности: рваные носки, раздавленная машиной курица... Все идет прахом, все обманчиво, как моя любовь. Что здесь может вдохновить поэта? Осень, березки!

По мне березки хороши, когда их не надо пилить и таскать. Зачем меня принесло сюда! Разве я не мог достать справку, что у меня болит печень! *(Долго и с нездоровым напряжением всматривается в стоящий рядом клейтон. Вдруг хватает лопату, бросается к клейтону.)* Чертова машина! Разнесу в щепки! *(Замахивается лопатой.)* Разнесу! *(Проваливается в бункер.)*

Стоматологический роман

Если вы беспредельно счастливы, начиная с того, что вам везет в любви, и кончая тем, что вам не жмут ваши туфли, и если кто-нибудь скажет вам, что страдания украшают и возвышают человека, не слушайте и не верьте. Ходите с любимым человеком по дорожкам, залитым лунным светом, покупайте обувь размером больше. И не простуживайтесь, потому что у вас могут заболеть зубы.

Зубная боль — самое жестокое из человеческих страданий. Ада нет, но в каждой больнице есть дверь с табличкой «Зубной врач».

Колю Ванечкина привела к этой двери только жестокая необходимость.

Коля — во всех отношениях интересный молодой человек и вполне бы мог быть героем серьезного романа.

В одно из недавно прошедших воскресений Коля проснулся и обрадовался своему пробуждению. Был он наполнен всеми мажорными сочетаниями своего возраста, и, казалось, ничто не могло его обеспокоить. Он был убежден в этом сам, а когда почувствовал, что у него слегка ноет какой-то зуб, то не поверил этому и не обратил на это внимания.

Но прошел час, и зуб определенно заявил

Коле Ванечкину о конце его физического благополучия.

Юноша не болел никогда. Он не болел даже в детстве корью и был перепуган новизной ощущений.

Он плохо и мало спал, а назавтра у него была вторая очередь к зубному врачу в ближайшей клинике.

Первым был ветхий старичок, для которого лечить что-нибудь стало уже профессией, и он никогда не опаздывал на прием.

Старичок вошел в кабинет, и его морщины легли сложными складками недоумения и недоверия. За столом вместо пожилого, хорошо знакомого врача, сидела девушка.

Старик забеспокоился. Он был молод очень давно и помнил только, что в молодости он был героем. Теперь в его представлении все девушки были обязательно легкомысленны.

Но Верочка успокоила его вежливым обхождением, а продолжительным изучением его кусательных органов даже внушила ему уважение. Приемом он остался доволен и с сознанием выполненного долга покинул кабинет.

Если бы зубная боль не затмила Коле Ванечкину светлые краски жизни, то он увидел бы, что Верочка была молода и хороша собой, что у нее удивительные глаза и нежные очертания губ и подбородка.

Но Коля взглянул на нее, как на средство, которое должно прекратить его мучения, и торопливо уселся на стул, с нетерпением ожидая действия этого средства.

Зато Верочка смотрела на Колю долго и совсем по-другому.

Коля был молод и интересен. Верочка тоже была молода и никогда еще не любила. И произошло то, что несомненно могло бы произойти в этом случае. В свободном сердце Верочки Беседкиной Коля вместился сразу и весь, начиная с не причесанных в это утро волос и кончая не чищенными в это утро туфлями.

Верочка покраснела и стала вести себя так, словно не он, а она пришла к нему в кабинет и застенчиво ждет, когда он обратит на нее внимание.

Коля же ничего не заметил, кроме того что «девчонка почему-то тянет», и сказал нетерпеливо:

— Посмотрите же! Вот этот зуб.

Верочка встрепенулась и, затая дыхание, осмотрела больной зуб.

Зуб этот нужно удалить, но он занимал такое видное место, что его отсутствие было бы большим пробелом в Колиной улыбке.

И без того взволнованная Верочка пришла в смятение. «Вырвать проще всего, — завертелось у нее в голове, — вот если вылечить».

И они стали лечить. Лечить зубы — это значит причинять боль. Закончив, Верочка дрожащей рукой написала рецепт и слабым голосом попросила зайти завтра.

Коля ушел, но боль не проходила. Прописанные порошки были более психологическим средством, чем медицинским, и через несколько часов Коля вернулся.

— Удалить! — заявил он категорически.

— Зачем же удалять? — спросила Верочка испуганно. — Его лечить надо. Завтра можно продолжить...

— Если все дни будут походить на сегодняшний, то я не хотел бы, чтобы их было много, — упадочно сказал Коля, но согласился терпеть до завтра и, не попрощавшись, ушел.

Весь вечер он метался по комнате, а ночью тихонько подвывал соседской собаке, у которой зубы болели, видимо, неизлечимо, потому что выла она каждую ночь.

«Нужно всего три дня, — думала Верочка, вместо того чтобы спать, — ведь вылечу же я!»

Утром она, смущаясь, сделала праздничную прическу. Жиденький комплимент, прошамканный по этому поводу высыхающим старичком-пациентом, не был ей неприятен.

Коля снова был вторым. Верочка, страшно робея, приступила к продолжению спасительной процедуры.

Инквизиторские звуки бормашины острой болью отзывались в сердцах обоих.

— Завтра мы закончим, наверное, — сказала Верочка неожиданно для самой себя с сожалением и грустью.

— Наверное?! — злобно переспросил Коля и вышел, снова не попрощавшись.

Быстро, почти бегом, он двигался по улице, словно хотел убежать от зубной боли.

На следующее утро прием к зубному врачу начался чуть раньше обычного.

В дверях клиники Коля обошел пунктуального старичка и первым, без вызова и без стука вошел в кабинет.

— Доброе утро, — робея, произнесла Верочка.

— Здравствуйте, — грубо ответил Коля и, покосившись на сирень, стоящую на столе в стройной вазе, спросил нехорошим голосом:

— Цветочки?

Верочка неловко улыбнулась, приоткрыв вызывающе здоровые и красивые зубы.

— Чему вы смеетесь, — заговорил Коля, раздражаясь. — У вас сердца нет?

Верочка вздрогнула и, отвернувшись к окну, невнятно забормотала о том, что сердце у нее есть и что ноет оно сильнее тридцати двух больных зубов, что вылечить зуб пустяки, вырвать, например, и все, а...

— Можно вырвать! Так что же вы?

И он хлопнул дверью.

Коля удалил зуб кустарным способом и скоро снова стал счастливым владельцем бодрости и здоровья. Не так просто было с Верочкиным сердцем. Она долго и серьезно грустила.

Как-то в парке на танцах Коля с удовольствием и неясным волнением любовался хорошенькой белокурой головкой. Осмелившись, он подошел, девушка обернулась и обомлела. Коля же вдруг быстро и решительно прошел мимо.

Это была Верочка. В Колиных глазах она успела разглядеть самую неподдельную ненависть.

Исповедь начинающего

(Монолог)

Коридор редакции. По коридору туда и обратно ходит, напевая драматическую тему «Риголетто», молодой человек, в черном костюме, с бледным лицом. Испачканные в чернилах руки он заложил за спину и нервно шевелит там большим пальцем.

Молодой человек. Ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля. *(Останавливаясь и вздыхая.)* Не знаю, как я кончу, но начал я плохо... *(Снова ходит.)* Я проклинаю тот день и тот час, когда впервые сел писать рассказы, мне ненавистны те люди, которые говорят мне, что это у меня получается; сколько раз я пытался бросить... *(Останавливается.)* Но легко сказать «бросить писать»! Можно избавиться от тысячи дурных привычек и приобрести две тысячи хороших, можно стать вежливым, чутким, бескорыстным, можно бросить курить, бросить можно, наконец, жену, детей, но бросить писать?! Человек, раз напечатавший где-нибудь рассказ или стихотворение, уже никогда не остановится писать. Это невозможно так же, как невозможно дураку перестать валять дурака!

Если бы вы знали, как много я пишу. Честное слово, я не могу равнодушно видеть чистую бумагу, сейчас же у меня появляется какой-то зуд и непобедимое желание исписать эту бумагу. На моем столе безобразие от начатых и незаконченных рукописей. И вы думаете, я выбрасываю всю эту чепуху?

Не-ет! Я аккуратно складываю все в стол в тайной надежде, что когда-нибудь эти бумаги схватит дрожащая рука исследователя.

Знаете, я болен. Пока я не сплю, меня беспрерывно сосет какое-то необъяснимое беспокойство, словно в кармане у меня билет на какое-то прекрасное, единственное представление, а время уходит, и билет пропадает... По ночам мне снятся запутанные сюжеты... И знаете, я скажу вам больше: для меня и жизнь моя черновик. Да-да! Черновик, исчерканный, запутанный черновик, в котором не разберется ни одна душа на свете.

(Несколько раз проходит туда и обратно.) А обивать пороги редакции вы думаете легко и весело? Придешь к иному редактору, принесешь рассказ, а он эдак сквозь зубы: «Ну, что скажете?» Будто я пришел занимать деньги или украсть пресс-папье с его стола. *(Останавливается у двери с табличкой «Редактор».)*

Вот и сейчас за этой дверью решается, будет напечатан мой новый рассказишко или нет. Конечно, я надеюсь, но скорей всего, его не возьмут. Мне кажется, что рассказ я писал вяло, с постыдным равнодушием к своим героям. Там героиня у меня смеется, а когда я писал это место, я засыпал с ручкой в руках. *(Снова ходит.)*

Говоря откровенно, вдохновения никакого вообще нет. Вдохновение выдумали поэты, чтоб пустить пыль в глаза. Не верите? Почитайте... э... впрочем, не скажу кого, вы можете передать мои слова...

(Останавливается у той же двери.) Пойду узнаю, как рассказ. Впрочем, мне кажется, что войти надо немного погодя. Почему? *(Усмехается.)* И раньше, пока я не занимался поэмами, у меня были некоторые странности. Мои родные и знакомые смеялись над ними или беспокоились. Теперь же никто не замечает этих странностей, все мне прощают и ждут, видимо, от меня чего угодно... И, правда, все может быть. Я ничему не удивляюсь и сам, кажется, на все готов.

(Входит. Его нет минуты две. Появляется. В лице перемена. Прячет улыбку. Помолчал. Несколько раз прошелся.) Да... *(Небрежно.)* А вы знаете, рассказец-то мой взяли. Редактор говорит: «Талантливо, растете». Заметьте, это сказал человек, которому льстить мне не имеет никакого смысла. Впрочем, я и без него знаю, что я талантлив. *(Смутившись всего на секунду.)* Согласитесь, что пишущий должен быть несколько самонадеян, иначе критик задавит в нем автора.

Так вот, в воскресенье в газете будет мой рассказ, полюбопытствуйте. Я сталкиваю там два характера — игра света и тени, в духе Рембрандта. Поинтересуйтесь. Там будет подписано: Лев Коровин. *(С достоинством.)* Это я.

Последний рассказ я писал с увлечением. Там у меня героиня плачет, и, представьте себе, когда я писал это место, я плакал тоже. И вы, может быть, заплачете. Полюбопытствуйте — не пожалеете. *(Уходит, насвистывая: «Постоянство, тяжелые цепи постоянства...»)*

Сумочка к ребру

Рабочий день литературного консультанта Владимира Павловича Смирнова начинается с чтения рукописей. Разбор некоторых из них требует изрядных криминалистических навыков. В других — отклонение от грамматики мешает додуматься до смысла написанного. Иногда написанное вообще не имеет никакого смысла.

Владимир Павлович хмурится и слегка нервничает.

Часов с десяти начинают появляться авторы. По утрам любит приходить начинающий поэт Рассветов. Он раздевается и садится напротив Владимира Павловича. Рассветов страшно интеллигентен, но ходит всегда неприлично лохматым. Скептик ужасный. Даже собственные стихи он читает с пренебрежением. Пишет о полях и о деревьях, но больше о чувствах. Пишет плохо. Сначала Рассветов посылал стихи почтой и был неприятен Владимиру Павловичу как автор, но вот он стал приносить стихи сам — и стал неприятен еще и как человек.

— Мелкотемье, товарищ Рассветов, и форма у вас не блестящая, — сдержанно говорит Владимир Павлович, пытаясь возвратить Рассветову стихотворение.

— Мелких тем нет. Есть мелкие авторы, — надменно говорит Рассветов.

Владимиру Павловичу хочется сказать Рассветову, что он и есть автор самый мелкий, что ему надо бросить писать и заняться поднятием тяжестей, но этого сделать нельзя, и Владимир Павлович подробно разбирает стихотворение, советует, спорит, читает лекцию по литературоведению и очень вежливо дает понять, что стихотворение не может быть напечатано. Рассветов надувается и уходит создавать художественные ценности.

Следующий — молодцеватый стриженый парень, недавно демобилизовавшийся солдат, автор романа «Три года в строю». Автор требует напечатать «хотя бы главы». Роман лежит у Владимира Павловича в самом дальнем углу стола вместе со склянкой настойки из ландыша.

— Прочитали? — звонко спрашивает стриженый парень.

— Читаю, — хмуро говорит Владимир Павлович. — Зайдите дня через два.

— Сколько можно ходить! — нахально говорит парень. — Я не потерплю бюрократического подхода к моему творчеству!

Владимир Павлович тупо смотрит на посетителя, на его богатырскую грудь, украшенную четырьмя автоматическими ручками, и ему страшно хочется достать из стола роман, рвать его на глазах у автора и выкрикивать при этом оскорбительные отзывы, но Владимир Павлович спорит, убеждает, советует читать Тургенева и грамматику.

Приходит мастер короткого газетного жанра Коля Гонорарьев. Этот долго не задерживается, но все-таки оставляет неприятное впечатление.

Потом идут другие — молодые, старые, вежливые, заносчивые, сердитые и обидчивые. Попадаются нервные.

Как-то после работы Владимир Павлович достал из стола два новых письма и хотел уже сунуть их в папку, для того чтобы прочитать дома, но машинально разорвал один конверт и вынул оттуда на редкость маленькую бумажку.

В этот день Владимир Павлович анализировал поэму Рассветова о боярышнике и был порядком утомлен. Кроме того, демобилизованный романист назвал его Бенкендорфом. К концу дня его нервы находились, кажется, вне всякой системы.

Владимир Павлович развернул бумажку. Неведомый автор предлагал стихотворение, которое начиналось так:

Из подворотни выбрел пес лохматый
И вдруг завоил, словно не к добру,
Подкрадывался сумрак бородатый,
Подвязывая сумочку к ребру.

«Что это? — подумал Владимир Павлович, чувствуя, что ему становится не по себе. — Какую сумочку? К какому ребру?»

Владимир Павлович прочел это еще раз, попробовал хихикнуть, но смех вышел таким, что он сам его испугался.

Он быстро оделся и поспешно покинул пустой кабинет. По дороге домой Владимир Павлович держался многолюдных и освещенных мест. Странное четверостишие не давало покоя. Темный коридор он прошел быстро и с таким чувством, что его вот-вот ударят по голове чем-нибудь жестким и тяжелым. Войдя в свою квартиру, он запер за собой дверь.

Жена сидела на диване и вышивала что-то болгарским крестом. Владимир Павлович заговорил шепотом:

— Маша, у нас никого нет?

— Никого. А что?

— Вот! — Владимир Павлович вынул из папки конверт и осторожно, словно это была бутыль с негашеной известью, передал его жене. — Прочти. Только... Ребенок спит? Спит? Тогда прочти... Нет-нет, не надо вслух.

— Ничего особенного, — сказала хладнокровная жена, прочитав. — «Сумрак бородатый» — хорошо, а вообще несколько туманно...

— Несколько? — перебил Владимир Павлович, нервозно вздрагивая. — Это черт знает что! «Завоил» — какое адское слово! Все встречалось: поэтические вольности, охотничьи рассказы, шампанские могилы, но такого... Нет-нет! Это что-то жуткое... Я думаю, Эдгар По побледнел бы. А я все-таки человек рядовой, с ограниченным воображением, у меня ребенок, еще могут быть дети... Нет, я не могу! Я уйду с этой работы. Завтра же. Сегодня же! Займусь чем-нибудь другим... Буду менять собственную тень на шагреневую кожу — спокойнее...

Жена бросила вышивание и внимательно посмотрела на мужа. Только сейчас она заметила, что Владимир Павлович бледен и необычайно суетлив.

— Послушай, Маша, — сказал Владимир Павлович вкрадчиво, — тебе никогда не казалось, что на тени ты похожа на Бенкендорфа? Да-да. Я все время думал, на кого, и вот сейчас...

Перепуганная жена увела Владимира Павловича в спальню и уложила в постель. Потом она вернулась в комнату, подошла к телефону и набрала нужный номер...

Через неделю начинающий поэт Рассветов, прогуливаясь по улице с девушкой, встретил Владимира Павловича, который против обыкновения не свернул в сторону и не отвел глаз, а пошел прямо навстречу Рассветову — так, что тот должен был остановиться.

— Вот что, молодой человек, — сказал Владимир Павлович, не поздоровавшись. — Не ходите вы, ради бога, по редакциям и не пишите стихов. Чтобы нравиться девушкам, не обязательно писать стихи. Я вам это давно хотел сказать, но не мог. А теперь могу. У вас не то что талант, у вас здравый смысл отсутствует.

— Рехнулся! — сказал посрамленный поэт, глядя вслед уходящему Владимиру Павловичу.

Он был неправ. Владимир Павлович перешел на другую работу и был совершенно здоров.

Финский нож
и персидская сирень

Переполненный, раздираемый распрями автобус остановился наконец там, где высаживается большая часть пассажиров. Все отдыхающие солнечным летним воскресеньем за городом знают, сколько дерзости, сколько грубой энергии нужно для того, чтобы уехать к месту отдыха на автобусе. Но вот из автобуса выходят смущенные влюбленные, выходят семьи, счастье которых, казалось, могло быть омрачено лишь поездкой за город на автобусе, и небольшие группы приятелей-сослуживцев, приехавших сюда выпить и закусить.

Гражданин лет девятнадцати сошел последним, но сделал он это не из вежливости, а случайно. Зато никто не мог бы отказать ему в красоте.

Лицо мужественное, но со следами каких-то происшествий и слишком дерзким взглядом. Одет с неподдельной небрежностью, что полностью гармонирует с его свободными манерами и развязной походкой. Вид самый независимый, но в то же время заметно, что этот человек постоянно ждет чего-то нехорошего. И действительно, он постоянно должен подозревать, опасаться, быть начеку. Этого требует его нервная профессия. Своей профессией он обязан исключительным стечениям

жизненных обстоятельств и редкому воспитанию.

Пяти лет он лишился обоих родителей и был усыновлен дядей. Одинокий дядя принял племянника неохотно. Одиночество больше всего подходило при его образе жизни и способах приобретения средств для этой жизни. У него, например, всегда были основания внезапно покинуть насиженное место с тем, чтобы не возвращаться туда даже за своими вещами. Впрочем, вещи эти не были его собственностью, а попадали в его руки без ведома их настоящих владельцев. Он вел пьяное существование, и уважать его можно было только за преклонный возраст. К своей свободе относился ревниво, но в конце концов так скомпрометировал себя перед обществом, что мог жить только далеко, в суровом малозаселенном краю. К несчастью, этот дядя имел педагогическую жилку. Личным примером и непосредственными поучениями он воспитывал племянника по своему подобию.

Конечно, люди вырвали бы восприимчивого мальчика из лап этого воспитателя, но мальчик в силу исключительных способностей, которые в нем открыл и развил дядя, успел угодить уже в детскую трудовую колонию, откуда несколько раз бежал. Растянув эти побеги до совершеннолетия, он попал на два года в тюрьму и вышел оттуда опытным и энергичным нарушителем законности.

Разумеется, он не был счастливым. У этого человека могли быть удачи, но не могло быть счастья. Чем больше он задумывался над своей жизнью, тем чаще ему казалось, что он не любит своей профессии. Он стал за-

мечать, что ворует и грабит безо всякого увлечения, без любви к делу. К честным людям стал приглядываться с завистью и раздражением. Особенно раздражали его студенты. Ему уже девятнадцать лет, а его жизненная перспектива тянулась длинной вереницей бутылок и упиралась во что-то темное и безнадежное. Деньги между тем имели для него цену лишь тогда, когда их у него не было. Последнее время у него не было денег.

Воровать он не любил — ему больше нравилось грабить. Ограбив кого-нибудь, он получал сознание того, что он сильнее ограбленного, каким бы честным и умным ни был последний. И все-таки ограбленному он завидовал, и, может быть, для него быть счастливым значило быть честным. Но он считал честную жизнь чем-то в высшей степени ему несвойственным и неподходящим. Тело у него было исписано эпитафиями и лирическими откровениями, которые должны были свидетельствовать о душевной обреченности и безнадежности.

Было воскресенье, граждане ехали за город отдохнуть, но его каторжная профессия, как видно, и не предполагала выходных дней.

В одном месте лес с городом соединял запущенный сад, который когда-то окружал чью-то дачу и был огорожен. Теперь забора не было, сад зарос, но остался садом, потому что там попадались акации, черемуха, сирень и кусты непривитых яблонь.

Поглощенный мрачными грабительскими мыслями, молодой человек незаметно для себя очутился в самом глухом уголке сада, где попадалась еще не истерзанная любителями

живых цветов сирень. Уголок этот благоухал. Но из молодого человека формировался уже алкоголик, так что запахи он чувствовал смутно. Ранодушно взглянув на пышный куст персидской сирени, он уже хотел повернуть назад, как вдруг заметил по ту сторону куста белое платье.

«Снять часики», — пришла ему в голову привычная мысль.

Оленька Белянина любила одиночество. Этот заброшенный сад привлекал ее всем: и тем, что он заброшен, и тишиной, и запахами, и еще многим, что находила в этом саду она одна. Забравшись в заросли, она читала писателей-романтиков, любила Тургенева, и в ней самой было очарование Лизы Калитиной. Оленька прошла тихим, ровным путем через школьные классы в студенческую аудиторию. Юность ее светла и спокойна, и все неожиданности были у ней впереди. Это была нежная, чуткая, отлично воспитанная девушка, и трудней всего она воспринимала какие-либо отклонения от нормального. Мысль быть ограбленной никогда не приходила ей в голову.

Молодой человек между тем подошел, остановился в двух шагах и стал ориентироваться. Часы ему понравились с первого взгляда, но их владельца он нашел унизительно беспомощным.

«Сразу же отдаст и будет плакать», — подумал он.

— Который час? — спросил он, вкладывая в свою интонацию большую дозу грабительского сарказма, за которым слышится, что хозяину часов, не имеющему высокоразвитого

чувства времени, предоставляется возможность ответить на этот вопрос в последний раз.

Но этот зловещий вопрос, который настораживал, приводил в растерянность, заставлял трусить всякого, кому он задавал его наедине, на Оленьку Белянину не произвел никакого впечатления. Это показалось ему странным. Между прочим, у Оленьки была та наружность, мимо которой нельзя пройти без зависти или без любопытства, и молодой человек неясно осознал, что ему было бы неприятно иметь такого голубоглазого врага.

— Без десяти пять, — любезно ответила она.

— Врут ваши часы, — решительно сказал молодой человек. — Снимайте их, будем чинить.

И он сделал к ней шаг, но только шаг. Его остановил ее взгляд. В глазах ограбленных им людей он привык видеть страх, осуждение, презрение. Но девушка смотрела на него весело и с любопытством. Это было ново и неожиданно и так не предусмотрено практикой, что молодой человек растерялся.

— Вы что — странствующий агент часовой мастерской? — спросила она, улыбнувшись.

— Да, я... странствующий... — пробормотал он и неловко опустился на траву.

Они молчали. Оленька с интересом продолжала его разглядывать. Этот молодой человек выглядел несколько необычно. Следы каких-то происшествий на лице придавали ему в ее глазах романтический оттенок.

— Неужели вы не нашли другого пово-

да, чтобы заговорить со мной?— сказала она, продолжая улыбаться, и он понял наконец, что предложение снять часы она принимает за шутку, а его считает честным человеком, и вдруг почувствовал себя во власти какого-то сложного непонятного состояния, которое делало его попытку снять часы у этой девушки попыткой страшно нелепой и несостоятельной. Она что-то говорила, что-то спрашивала, но прошла минута, прежде чем он стал понимать ее и отвечать на ее вопросы. Непосредственность была природной чертой Оленьки Беляниной. И они разговорились. Это был обычный для двух незнакомых молодых людей разговор, который состоит из шуток и отгадывания имен и рода занятий собеседника. Разумется, этот разговор не мог быть для молодого человека приятным.

Что Оленька — студентка, стало известно быстро и легко. А он...

— И уж, конечно, вы не артист, — гадала Оленька. — Вы только что так грубо и так неталантливо пытались изобразить разбойника.

— Разбойника... — повторил он, — вы видели его когда-нибудь?

— Не видела, — самоуверенно отвечала она, — но представляю его лучше, чем вы.

Он взглянул ей в глаза и улыбнулся. Может быть, потому, что в жизни ему приходилось редко улыбаться, и невинная улыбка хорошо сохранилась у него с малых лет, у грабителя оказалась детская улыбка. Было это трогательно, как грустная любовь веселого юмориста, и Оленьку такая улыбка не могла не взволновать. Кроме того, она смутно по-

чувствовала, что где-то близко около этого разговора бьется самое важное, самое сокровенное в этом человеке. Они отвели глаза, и оба, каждый по-своему, смутились.

— Какая это книга? — нарушил он паузу и протянул за лежавшей у ее ног книгой свою руку. Обшлаг рубахи скользнул к плечу, и тут Оленька увидела на его руке непринужденно начертанную каким-то опальным художником Венеру и одну из эпитафий — яркую грубую татуировку.

— Что это? — улыбка мгновенно улетучилась с ее лица.

— А это, — сказал молодой человек чужим голосом, — наколка. Я, между прочим, разбойник и есть...

В горле пересохло, а ему захотелось вдруг говорить и говорить...

Он взглянул ей в глаза. В них был страх, осуждение, презрение.

— Вам нужны часы? — проговорила она сухо. Он молчал. Через несколько мгновений послышался шелест травы под ее ногами. Шла она или бежала, он не видел. Он сидел на земле, опустив голову и беспомощно, как подраненная ворона крылья, расставив руки.

На пьедестале

В конце Пригорской улицы происшествие. На высокой каменной стене строящегося дома стоит человек, жестикулирует и что-то говорит. Прохожие останавливаются и волей-неволей увеличивают собравшуюся уже у стены толпу.

— Что там?

— Наверное, мальчишка.

Но это не мальчишка. Это Семен Васильевич Жучкин, разнорабочий, увольняемый с разных работ за пьянство. На пятнадцатиметровую стену его загнал пьяный кураж.

Трезвый Жучкин — хмурый, замкнутый человек, заговаривающий лишь для того, чтобы ругаться и грубить. Ругаясь много и охотно, он вспоминает чужих матерей чаще, чем это делают сами чужие. Все остальное время Жучкин зловеще молчит. И, видимо, чтобы не угнетать общество своим тяжелым характером, он избегает быть трезвым. Хмелеет он быстро, и вместе с опьянением к нему приходят непринужденность и какая-то маниакальная общительность. Инстинкт самосохранения тянет его к незнакомым людям; тогда он с меньшим риском может навязываться в друзья, наживать врагов и вызывать участие в своей оплакиваемой пьяными слезами судьбе. Ему все равно: жаловаться, плакать,

упрекать или угрожать — лишь бы быть всё время на глазах у людей. Эта болезненная потребность в обществе так велика, что, кажется, такой человек бросил бы пить, если б всякий раз после выпивки оставлять его одного. На этот раз он в ударе. При его фантазии каменная стена в людном месте — для него седьмое небо. Он сознает, что это кульминация, что ему никогда уже не собрать столько людей, заинтересованных его судьбой. Стоит он, придерживаясь одной рукой за торчащий из стены железный прут с пьяной грацией и претензией на монументальность.

— Чего собрались? — говорит он надменно. — Не видели пьяного пролетария? Смотрите!

И он слегка надрывает на своей груди рубаху.

— Чего ржете, цыплята желторотые? — обращается он к двум засмеявшимся молодым людям. — Что смешно?

— Ты зачем туда залез? Ведь пьяный же, свалишься. Слезай! — говорит толстый дядя с портфелем.

— Смеются! — продолжает Жучкин. — Я их защищал, когда... когда их еще не было. Сражался... болезнь получил, а они зубы скалят... И-ых!

На самом деле Жучкин никогда нигде не сражался, если не считать, что был бит однажды бутылкой по голове.

Жена дяди с портфелем, полная чувствительная женщина, суетится и тараторит:

— Что же это, он упасть может, он ведь пьяненький! Мужчины, что же вы стоите, мужчины!

— Слезай, слышишь, слезай! Свалишься, дурак, — басят мужчины.

— Свалюсь, — дрогнувшим голосом говорит Жучкин.

На молодых людей, снова собравшихся было рассмеяться, шикают и выговаривают: «Все бы зубоскалили, тут, может быть, трагедия...»

— Свалюсь! — торжественно и плаксиво повторяет Жучкин. — Что мне! Боролся, ничего на щадил... Смеются... свалюсь... А ну, расступись!

Внизу смятение. Женщины разбегаются.

— Бежите! — упивается Жучкин.—В свидетели не хотите!

— Довели человека! — раздается из толпы глухой анонимный голос.

— Мужчины! — восклицает жена дяди с портфелем. Происшествие так захватило ее, что она раскраснелась, похорошела и, может быть, даже помолодела. — Человек может погибнуть!

Молодые люди направляются к стене, к деревянному трапу. Но Жучкин кричит:

— Куда ползете? Не подходи — сразу прыгну!

Молодые люди отступают.

— А ну спускайся! — строго командует подошедший милиционер. — Спускайся живо, а то...

— Послушайте, так нельзя, — набрасывается на милиционера супруга дяди с портфелем. — Он ведь бросится... так нельзя. Нужно учитывать состояние... Вы бесчеловечны. Его надо убедить.

— Надо убедить, — нагло повторяет Жучкин. — Они привыкли тут...

Милиционер, молодой, еще недавно застенчивый парень, приходит в растерянность и недоумение. И Жучкина убеждают. А он несколько раз порывается низвергнуться вниз, дорывает на себе рубаху, хнычет, воет, рычит...

В это время к стене приближается старшина милиции Василий Васильевич Милых. Жучкина он знает давно и хорошо знаком с его повадками.

— Прыгай! Давай прыгай! Ну! — кричит Милых.

Заметив его, Жучкин втягивает голову в плечи, запахивается в рубашку, ежится и исчезает с авансцены.

— Да разве он прыгнет! — говорит Милых с сожалением.

Через минуту Жучкин внизу. Теперь его можно хорошо рассмотреть. Вблизи вид у него жалкий, трусливый, как у шкодливого кота, которого хозяйка не кормит, а только бьет. Он бормочет:

— Я, Василь Васильевич, ничего такого... это я так... проветриться.

— Мы тебя провентилируем, — обещает Милых и вдруг обращается к жене дяди с портфелем: — Гражданка, пройдемте, пожалуйста... для освидетельствования хулиганского акта.

— Нам, знаете ли, некогда... Извините, возьмите кого-нибудь другого, — старается увильнуть женщина.

— Ничего. Это ненадолго. Пройдемте, пройдемте, — настаивает Милых и, обра-

щаясь к Жучкину, цедит сквозь зубы: — Обрати внимание, порядочным людям неприятно с тобой идти.

Жена дяди с портфелем морщится, пожимает плечами и, ничего не поделаешь, идет вслед за Жучкиным и милиционером. К ней пристраивается недовольный муж.

— Хулиганов ведут, — говорит кто-то на улице.

На скамейке

Никто не возьмет на себя смелость утверждать, что ссоры между влюбленными необходимы. Но с тем, что ссоры эти неизбежны, согласится всякий. Влюбленные ссорятся редко и часто, на мгновение и надолго, неожиданно и заранее обдуманно. Часто, затевая ссору, влюбленные уже предвкушают сладость примирения.

Один мой приятель рассказывал, что самый лучший вечер в его жизни следовал за днем, в который он жестоко поссорился со своей возлюбленной. Они раздули ссору до бури, вырывающей из их душ любовь, и, чтобы не оскорблять друг друга, распрощались навсегда и разошлись по домам одинаково гордые и взволнованные. Поздно вечером они встретились. Она шла к нему, чтобы сказать, что она его ненавидит. С тем же спешил к ней он.

Но все, о чем здесь будет рассказано, произошло в то вемя, когда влюбленные ссорятся нехотя и ненадолго. Весна не любит расходиться с радостью. А был май — великолепный и достойный венец лучшего времени года.

Убрав с земли снег, растормошив заснувшую реку, весна освободила людей от теплой одежды, разбросала под ноги зеленые ковры,

развешала повсюду зеленые портьеры и занавески, снизила цены на живые цветы и мертвые улыбки — словом, распорядилась так хорошо, так ловко и так заботливо, что не ценить всего этого невозможно.

Когда ласковый майский день сменяется нежным майским вечером, когда воздух, приправленный острым вечерним запахом тополей, делается чище и слышней становится музыка из ближайшего парка, когда так приятно сидеть у открытого окна — тогда не ищите ваших молодых знакомых дома. Идите в парк — туда, где в такие вечера бьется пульс городской жизни. Знакомых вы, возможно, там не найдете, зато до конца вечера не потеряете надежды встретить их среди многочисленного собрания ценителей чудных майских вечеров.

Именно в такой вечер в парке своевременно появились Вирусов и Штучкин — два человека, равно интересных и молодых. У них приятные лица, а из их одежды можно составить один модный щегольской костюм.

Это была подходящая компания: Вирусов любил шутить, Штучкин любил смеяться. Вирусов должен был нравиться гордой и чуть надменной осанкой. Штучкин подкупал добродушием и смешливостью. С его лица не сходил румянец отдыхающего человека. Держались они с той свободой, которую, присмотревшись, можно назвать самоуверенностью. Окаменев даже в самых академических и самых серьезных позах, эти молодые люди представляли бы собой скульптурную группу «Два шалопая». На танцплощадке они побывали лишь для того, чтобы оживить дав-

ку при входе и выходе в узкую калитку; шутили с незнакомыми людьми и свободно безо всяких предисловий заговаривали о любви со скромными и беззащитными девушками.

Живость, с которою приятели провели начало вечера, утомила их наконец, и они решили отдохнуть и покурить в каком-нибудь тихом месте. Они свернули на безлюдную аллею, от одного вида которой веяло дворянской романтикой. Казалось, пройди эту аллею до конца — и выйдешь тихим, строгим и мечтательным, как девушка без подруг. Молодые люди смиренно побрели по песчаной дорожке. Вирусов вдруг впал в бесскандальное элегическое настроение и, покопавшись в своих сведениях из школьных хрестоматий по литературе, высокомерно процитировал:

— Приют задумчивых дриад!

Штучкин хихикнул, но был назван пошляком и неучем. Уличив приятеля в незнании греческой мифологии, Вирусов перешел на невежество Штучкина вообще — тему более чем доступную и свободную, но вдруг замолчал.

На дальней скамейке сидела девушка. Любоваться можно было издали, ни один художник не отказался бы от этого сюжета: потемневшая зелень аллеи, кое-где просвечивающий сквозь нее закат и на скамейке — девушка в светлом. Все это и казалось бы созданием художника-романтика, если бы не легкий ветерок, существующий только для того, чтобы оживлять картину едва заметным движением листвы.

Вирусов был особенно растроган несложностью композиции — девушка сидела одна. Правда, на следующей скамейке расположился какой-то молодой человек, но он не вмещался в рамку этого полотна.

Молодые люди приблизились, и Штучкин тут же задал заведомо идиотский вопрос:

— Сидите, значит?

— Мне трудно вам что-нибудь возразить, — ответила девушка.

Вирусов на это тонко улыбнулся и спросил осторожно:

— Скучаете?

Девушка не ответила, а только взглянула на Вирусова, и он понял, что имел до этого смутное представление о красоте и выразительности человеческих глаз. Непостижимо красивые, они красноречиво выражали теперь равнодушие. Она перевела свой взгляд на молодого человека с соседней скамейки, потом быстро взглянула на Вирусова и Штучкина разом и едва заметно улыбнулась.

— Такая холодная улыбка в такой теплой компании, — заметил Вирусов, оживляясь и садясь на скамейку. Девушка рассмеялась чистым и ровным смехом. Тут же кощунственно раздался немелодичный смех Штучкина. Молодой человек с соседней скамейки вздрогнул, поднялся и быстро пошел в глубь аллеи. Девушка смеялась не уставая, все громче и громче. Потом вдруг сразу смолкла и спросила, сколько времени.

Добродушный Штучкин убавил наступление майской ночи ровно на час и заявил, что в такое время из парка уходят только олухи, как их сосед по скамейке. Вирусов, ко-

торого сначала несколько тревожило это соседство, сказал, что этот тип, проходя мимо, взглянул, кажется, нескромно на девушку и что, если она пожелает, его можно вернуть, чтобы заставить извиниться на французском языке, снять полуботинки и удалиться бесшумно на цыпочках. Штучкин заметил, что после он эти полуботинки может не надевать, а выбросить в кусты, где им самое подходящее место.

Потом Вирусов, как умел, заговорил о прелести майских вечеров, причем особенно в белом свете старался представить позднее темное время.

Девушка возражала, смеялась, поднимала одну бровь выше другой, но когда Вирусов дошел до игривого вопроса: «Как вас зовут?» — вспомнила вдруг, что ее где-то ждет подруга, вспорхнула со скамейки и запрыгала вдоль аллеи.

Приятели растерялись. Бежать за ней было бы нелепо, в чем Штучкин хотел все же убедиться, но Вирусов схватил его за пиджак и крикнул ей вслед:

— Вы бываете здесь?

— Иногда! — легкомысленно отозвалась она и растворилась в сумерках.

Домой они возвращались молча, будто не замечая друг друга. Но если бы они захотели уединиться, то не смогли бы. Они жили на одной улице, в одном доме, в одной комнате.

Приближение следующего вечера застало приятелей за хлопотливыми сборами. Вирусов решил навестить своего дядю, у которого, по его предположению, именно этим вече-

ром должен был начаться приступ малярии. По Штучкину стосковалась его добрая тетя, о существовании которой он до сих пор так постыдно забывал. Между малярийным дядей и тоскующей тетей было общее то, что они одинаково любили модные галстуки и безупречные прически у посещающих их племянников.

Собравшись, молодые люди вышли на улицу и разошлись в противоположные стороны.

Размышляя о том, что проще всего обманывать своего друга, Вирусов свернул к парку. Скоро он был там и, придирчиво осмотрев себя в темном стекле киоска «Пиво — воды», пошел в глубь вчерашней аллеи.

Вечер был ничуть не хуже вчерашнего, декорации так же великолепны. На дальней скамейке Вирусов заметил светлое пятно и, лишившись вдруг своей надменной осанки, устремился к этому пятну, как безрассудный мотылек к источнику света. Пятно увеличивалось и принимало прелестные очертания, но тут Вирусов обнаружил, что девушка сидит не одна. С другой стороны выглядывали чьи-то плечи и виднелись полуботинки, по которым Вирусов вдруг узнал вчерашнего соседа по скамейке.

Удар был неожиданным и жестоким. Вирусов почувствовал себя так, как будто его облили чем-то холодным и липким. «Черт возьми, — подумал он. — Неприлично показываться... засмеют, чего доброго...» И, терзаемый жестоким приступом самобичевания, Вирусов вспомнил Штучкина, и ему даже стало стыдно за то, что он так бессовестно обманул своего наивного друга.

До скамейки было уже не больше десяти шагов, и Вирусову оставалось только пройти мимо, что он старался сделать как можно бесшумнее, надеясь, что его не заметят. Свой взгляд он стыдливо устремил в глубь аллеи и... усмехнулся.

С другой стороны шел Штучкин. Чувствовал он себя также скверно, однако по привычке, которая у него всегда брала верх над настроением, хотел было рассмеяться, но, разглядев выражение брезгливости на лице своего друга, все же раздумал.

Приятели встретились почти напротив пары, которая была теперь олицетворением любви, согласия и верности. Влюбленные сидели лицом друг к другу и чуть наклонив друг к другу головы. Молодой человек перебирал в своих руках ее пальчики. Никто не смог бы заподозрить их в том, что они ссорились вчера и могут поссориться завтра. Естественно, они были невнимательными, и потому Вирусову и Штучкину повезло — они удалились незамеченными.

Стечение обстоятельств

Случай, пустяк, стечение обстоятельств иногда становятся самыми драматическими моментами в жизни человека.

Если хотите знать, какую скверную шутку сыграло стечение обстоятельств на самом заветном чувстве Катеньки Иголкиной, то садитесь в центре города на автобус, сойдите на третьей остановке, сверните на тихую безавтобусную улочку. Кажется, на правой стороне вы увидите промтоварный магазин и уютно прислонившийся к нему домик с двумя окнами, в одном из которых вы, может быть, и заметите Катеньку, которую теперь горькие раздумья то и дело отвлекают от ее обыденных занятий и гонят к окну в позу грустной и нежной девицы из старинных баллад.

Немного дальше вы найдете парикмахерскую, зайдите туда, разговоритесь с парикмахером, на общительность которого всегда можно положиться, и он расскажет вам если не эту, то какую-нибудь похожую на нее историю.

Катенька Иголкина — особа счастливой наружности и той молодости, когда хочется уже быть еще чуть моложе. Катенька от полных поэтического смысла, но ничего не дающих слов «где мои семнадцать лет!» пере-

шла к делу, в котором быстро преуспела и которое так заполонило ее душу и время.

Тем утром она возвращалась из парфюмерного магазина, где приобрела сезонный эликсир молодости. Дорогой Катенька думала о том, что ей не везет, и мечтала о счастье. В этих мечтах она залетела не выше уютной квартиры в строящемся четырехэтажном доме, мимо которого она проходила. Ей нужно было удачно выйти замуж. Неудачно она выходила уже два раза. Раз она пробовала работать, но тоже неудачно.

У своего дома, когда мысли об одиночестве стали уже невыносимо мрачными, она вдруг столкнулась с мужчиной, для которого это столкновение оказалось тоже неожиданным. Катенька кокетливо ахнула и, споткнувшись, запрыгала было с тротуара, но мужчина со вкусом поддержал ее за локоть, извинился, улыбнулся и пошел дальше. Катенька успела взглянуть ему в глаза продолжительным откровенным взглядом. Входя в свой двор, она обернулась, мужчина обернулся тоже, но имитировал безразличие, делая вид, что рассматривает что-то в окнах магазина. Он был замечательно красив, высок, недурно одет. Катенька зашла домой и в волнении присела к окну.

С четверть часа она сосредоточенно и мечтательно осматривала всех прохожих мужчин и уже было хотела отойти к своему рабочему столику, где ее ждал вновь приобретенный эликсир с многообещающим названием «Розы на щеках», как вдруг заметила виновника своего возбуждения. Он двигался по другой стороне улицы грациозным, прогулоч-

ным шагом и лишь скользнул («Хитрец!») взглядом по Катенькиному окну, задержав его на витрине магазина. Поравнявшись с магазином, он замедлил шаги. Сообразительная Катенька поняла это как приглашение выйти на улицу. Но из деликатности и девической гордости, появившейся у нее, видимо, вследствие действия омолаживающих косметических средств, она не вышла, решив, что он еще вернется. «Такой мужчина зря бродить под окнами не будет», — подумала она и ограничилась тем, что влюбленным взглядом проследила исчезновение с поля зрения его драповой стати.

Она не ошиблась. Было время обеденных перерывов, когда он появился снова. «Забегал», — подумала Катенька, злорадствуя.

На этот раз он шел с другой стороны, остановился, немного не доходя до Катенькиного окна, и, так же косвенно взглянув в его сторону, осторожно зашел в магазин. «Это уже наивно», — подумала Катенька. Потом в ней, перебивая друг друга, закопошились сложные человеческие чувства. После неравной и короткой борьбы женское благоразумие взяло верх над девической жестокостью, и Катенька решила выйти. Не теряя времени, она уселась за свой столик, и начался захватывающий процесс. Незнакомец был смугл, она решила стать блондинкой.

Но когда через полчаса она выпорхнула из дома, смуглого незнакомца на улице не было, а магазин, куда он заходил, был закрыт на обеденный перерыв. Катенька в отчаянии вернулась и заняла исходную позицию у окна.

Незаметно для добросовестных ночных сторожей кончился полный жизни, яркий солнечный день, и улицы, просеянные от малых детей и стариков, зажили веселой вечерней жизнью горожан в возрасте от 17 до 30 лет.

Катенька много перенесла за это время. Против обыкновения она провела бессонный день. Кроме того, она провела вторую его половину не отрываясь от окна. Она подивилась усидчивости царицы Тамары, которой довелось провести у окна своего замка лучшую часть своей жизни. Катенька была человеком совсем иного характера. Ей нужно было двигаться — хотя бы от окна к зеркалу и обратно.

Было уже безнадежно поздно, когда в небе вдруг вспыхнула и замерцала, интимно подмигивая, маленькая звездочка Катенькиного счастья. Тень киоска, находящегося напротив Катенькиного окна, раздвоилась, и кто-то легкими шагами стал пересекать улицу. Катенька с удовольствием узнала своего незнакомца и, думая о том, что она много уже страдала, что довольно страданий, что она выбежит сейчас и бросится к нему на шею и повиснет на ней, быстро стала одеваться.

Через три минуты, изнемогая от нежности, со слезами счастья на глазах она открыла свою дверь, но незнакомца не увидела, а услышала в соседнем дворе шум и чей-то страстный крик: «Не уйдешь!» — на который соловьиными трелями отозвался милицейский свисток.

Движимая встревоженным любящим сердцем и подстрекаемая любопытством, Катень-

ка вошла в соседний двор. В глубине его, у складов промтоварного магазина уже собралось небольшое общество из нескольких милиционеров и двух-трех любознательных граждан.

В центре этого избранного круга Катенька увидела своего незнакомца в объятиях ночного сторожа Степана Христофоровича. Степан Христофорович обнимал его неистово нежно и крепко, и Катенька поняла, что она бессильна перед этой верной и прочной привязанностью.

На другой день

У маленького деревянного домика на скамейке в позе больного художника с известной картины Карнаухова сидел молодой человек.

Поднятый воротник пальто наполовину скрывал его бледное лицо, которое выражало крайнее нетерпение и бесконечное отчаяние. В его глазах была сосредоточена грусть целого объединения начинающих поэтов-лириков. И если бы вы заглянули в эту минуту ему в душу, то вам стало бы неприятно.

Дрожащими руками молодой человек полез в карман, закурил, но тут же с отвращением отбросил папиросу.

«Даже курить не могу!» — с горечью заметил он.

Ничего светлого его настроению не могло противопоставить мрачное осеннее утро. Почти задевая скелеты тополей, по небу ползли грязные лоскутки туч. В маленьких лужицах всхлипывал мелкий и нудный дождик.

«Декорация для самоубийства, — думал молодой человек. — Вот люди торопятся по своим делам, у них отличное настроение, — они хорошо позавтракали, им все легко и просто. А я? Вчера и мне было весело и легко. А сегодня — ужасно! Грудь давит, будто меня сунули под гидравлический пресс.

Невыносимо! А ведь я мог себя вовремя сдержать! Не сдержал. Ну и поделом — околевай теперь!.. Но что же это?»

Молодой человек в сотый раз взглянул на часы.

«Где же она? Разве можно так мучить человека? Только женщина может быть так жестока и так небрежна. Знает ли она, что такое депрессия души и тела? Нет. Женщинам это недоступно. Чтобы понять меня, надо все это почувствовать. Конечно, ее это не трогает, ей все равно. Женщины равнодушны к страданиям других, они ничего никогда не сделают, чтобы хоть чуть-чуть облегчить их, и даже наоборот — любят злорадствовать... Она не торопится, ей плевать на то, что у меня рябит в глазах и трясутся руки. Но она еще меня вспомнит! И ей будет неприятно! Впрочем, может быть, ей будет уже все безразлично. Нет! Это настоящая инквизиция! Кто ей дал право так издеваться! О, как тяжело! Как ужасно... Что ж, я уйду. Еще минута...»

Но здесь лицо его просветлело: он увидел ту, которую ждал с таким нетерпением. Он поднялся, облегченно вздохнул и быстро вошел в только что открытую толстой пожилой женщиной дверь под вывеской «Пиво — воды».

— Три пива! — выкрикнул он на ходу.

Станция
Тайшет

Мы бежали от заката. По синим холмам он гнался за нами, в кровь рассекая свои розовые колени. Он ловил нас в свои малиновые сети. Он бросил нам вдогонку своих рыжих собак. От его яростной нежности мы бежали в темную летнюю ночь.

В нашем купе — дым и разговоры о женщинах. Ночь прильнула к нашему окну, и мы ждем чего-то от ее черной неизвестности.

Говорит Сема, задумчивый солдат:

— Они любят таких, какие валяются у них в ногах и гоняются за ними с ножами.

— Надо спать, — говорит Витька, медлительный, самоуверенный Геркулес. Он сидит у окна, он скрестил на груди руки, к стенке откинул голову. Под гимнастеркой каменеют тоскующие его бицепсы.

— Пашка пятый час травит, — говорит Сема. На средней полке он стучит своим костлявым телом.

— Надо спать, — говорит Витька, но не двигается.

— Я говорю, Пашка какой способный. Слышь, студент, сколько прошло?

В купе едут два сержанта и один рядовой. Они везут с собой звонкое слово «дембиль». Они возвращаются домой.

Я еду с ними шестые сутки. Я пил с ними водку, я говорил с ними о любви. Мы обожжены одним закатом.

— Прошло четыре часа двадцать минут,— говорю я.

— Видал! — говорит Сема с восхищением. — Профессор — Павел-то!

Они служили в одном взводе. Но Сема не знал, что Пашка может говорить четыре часа подряд.

Пашка Белокопытов стоит в тамбуре с девчонкой по имени Валя. Он стоит с ней пятый час. Она вошла в вагон, когда исчезло солнце и вспыхнул на западе этот красный, нестерпимо красный закат. Тогда Пашка остановил его в коридоре.

— Пятый час травит, — говорит Сема завистливо.

— Бесполезно, — говорит Витька и тянет с каменных плеч гимнастерку.

Пашка едет к Семе в деревню. Об этом они договорились давно. Семнадцать месяцев назад, осенью, на марше. Сема сказал тогда: «Как в Сочи. В баню тебя свожу, наденем белые рубахи. Как в Сочи». Они обдумали все там, на марше. Витька шел тогда впереди, и он спросил: «У тебя, случаем, нет третьей белой рубахи?» — «У меня их как раз три», — ответил Сема. «Не ври, — сказал Витька, — ни черта у тебя нету! Ни одной!.. И не нойте здесь под ухом!» И сентябрьская дорога жирно зачавкала под сапогами; грязные, как дорога, облака тащились над самой головой. И серая Витькина спина качалась перед глазами. Впереди неожиданно запевала закричал песню. И эту песню взвод поволок по грязной сентябрьской дороге. Тогда они поссорились.

Теперь ночь липнет к окну, и дикие зеле-

ноглазые полустанки отскакивают с нашего пути. Витька заедет к Семе. И наденет белую рубаху. Сема написал матери, чтобы запасла. Три белые рубахи.

— Белоснежные, — говорит Сема, — с запонками, по всей форме.

Неожиданно, как пожар, возникла на нашем пути станция Тайшет. Ночь отпрянула от окна и остановилась под тополями.

На перроне мы увидели Пашку. Девчонку он держал за руки, будто на афише. У ног их валялись чемоданы. Пашка что-то говорил. Она слушала и вытягивала шею испуганно и беспомощно, как птенец, выпавший из гнезда. Потом Пашка перестал говорить и взял ее за плечи. Мимо бежали, запинаясь за чемоданы.

— Витя, ты посмотри, сейчас Паша целоваться будет, — сказал Сема.

— Бесполезно, — сказал Витька и лег на нижнюю полку.

А Пашка не целовался, Пашка застыл, как на афише. Тогда мы открыли окно, и Сема крикнул:

— Давай! Целуй — не успеешь!

Пашка поднял чемодан, усадил на него девчонку и бросился к вагону.

Девчонка Валя сидела на чемодане. Она ждала. Ждали мы. И ночь, застывшая над тополями, ждала, что будет дальше.

Пашка вбежал и, растопырив руку, заметался по купе. Он искал чемодан.

— Ты что, Павел? — сказал Сема и положил чемодан на руку.

— Все! Приехал я, ребята! — сказал Пашка и засмеялся и вырвал чемодан.

— Чокнулся, — сказал Витька.

— Приехал! — повторил Пашка, глупо улыбаясь.

— Где тебя ждать? — спросил Сема. — В Чите догонишь?

— Ждать — не ждать, — сказал Пашка с той же улыбкой, — простите, ребята, письмо напишу.

Поезд тронулся, Пашка взглянул на нас дико и бросился целоваться.

— Письмо, — бормотал он, — напишу...

Он расцеловал Витьку, схватил Сему, тяжело и громко чмокнул его в нос, в щеку, в подбородок и выскочил в тамбур.

— Письмо напиши! — злобно крикнул Сема.

И станция Тайшет, воспоминание о закате, гасла на западе.

— Вот так! — сказал Витька и сплюнул.

Ночь сомкнулась за нами. Из ее темноты на нас глянуло вдруг сто тысяч разлук и сто тысяч встреч. И колеса стучали свою столетнюю песню. Колеса стучали на великой сибирской магистрали, вынесшей на своем просмоленном горбу новейшую историю.

— Правильный его поступок? — сказал Сема, подступая ко мне и свирепо прищуриваясь. — Правильный?

Я не отвечаю, и мы ложимся.

Завтра в десять вечера я приеду. Завтра в десять вечера раскаленный добела закат остановится за моей спиной. Я засыпаю и, засыпая, слышу голос:

— Пашка-то, а?.. Даже не выпили!.. Друг был...

Сема выругался.

И мы уснули. Мы, сбежавшие от заката.

Конец
романа

Вокзала никакого нет, потому что нет еще города. Есть обыкновенная станция — маленькая, деревянная, выкрашенная в желтый цвет. В зале ожидания всего три скамейки. На одной из них устроились две старушки с корзинами, на другой спит, свесив ноги и одной рукой касаясь пола, здоровенный дядя в телогрейке.

На третьей скамейке сидит девушка в синем плаще, хорошенькая, с большими серьезными глазами. В этих глазах — беспокойство и даже страдание. Ничего удивительного, если она вот-вот заплачет. Рядом сидит, развалившись и закинув ногу на ногу, широкоплечий парень. Надвинутое на лоб серое кепи бросает тень на его глаза. Хорошо видно только большой правильный нос и крупные расслабленные губы. Тяжелые руки брошены на скамейку. Такая поза существует специально для выражения усталости, небрежности и равнодушия. У его ног стоит громоздкий черный чемодан.

— Николай, ты не уедешь сегодня... Слышишь, не уедешь, — шепчет девушка, боязливо касаясь его руки.

— Почему я должен ехать завтра?

— Ни завтра, ни послезавтра ты не должен уезжать.

В ее голосе и просьба, и требование, и

надежда. Он поднимает воротник, встает, берет чемодан.

— Выйдем отсюда.

Под ногами похрустывает лист облетевших тополей, с рельсов брызжут холодные лунные искры, дальше, за платформами и кустарником, чернеется зубчатый горизонт лесистой сопки. И вся тихая, голубая осенняя ночь полна ожидания и беспокойства.

— Может быть, ты все-таки поедешь со мной?

— Нет, не могу. И ты не должен уезжать... Я перестану тебя любить. Я люблю тебя здесь... умного, сильного. А ты... Если ты уедешь, я не смогу тебя любить...

Он усмехается.

— Какая ты еще девочка... Ну что ж, оставайся. Конечно, оставайся. И вот что... Поговорим откровенно. Я хочу, чтобы ты поняла, что ничего не теряешь. Для тебя даже хорошо, что я сматываюсь... Мы с тобой разные, как сосна и береза. Ты вся какая-то голубая, розовая и... глупая. Поговорим откровенно. Я с тобой никогда не говорил откровенно. Я обманывал тебя. Виноват, конечно... впрочем, все мы друг перед другом виноваты... Сейчас, на прощанье, я хочу признаться тебе в том, что я люблю себя. Люблю самого себя — и это самая искренняя моя привязанность. Мне нравится заботиться о себе, окружать себя вниманием, удобствами. Здесь мне мешают этим заниматься. И мне надоело. Меня не устраивает это ваше дурацкое «будет». Квартира будет, театр будет, город будет! Когда, я спрашиваю? Я сейчас молод, понимаешь, мне это все сейчас надо.

А она твердит:

— Ты говоришь неправду... Ты так не думаешь. Ведь ты приехал сюда...

— Сюда я приехал заработать ну и... из любопытства. Денег здесь приличных нет, любопытство мое удовлетворено. Магнитная гора меня больше не притягивает. Счастливо вам оставаться, фанатики, романтики! Мошку, грязь и морозы я оставляю в ваше распоряжение. С собой я увожу только нежную память о них.

Мимо тащатся две старушки с корзинами. Громко зевая, проходит дядя в телогрейке. Пришел поезд.

— Ну вот, карета подана. Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай, как сказал один хромой старик. Он писал упадочнические стихи, много ездил, но нигде не прописывался...

Он делает к ней шаг и замолкает. Луна не в состоянии скрыть ее бледности, дрожат губы, влажные глаза блестят... Все вместе это — боль, горе, смятение. Он берет ее за плечи и быстро, ласково, настойчиво говорит:

— Ты поедешь со мной! Сейчас же! Будь умницей... Если ты любишь меня — ты поедешь. И не надо больше глупостей про воздушный замок у магнитной горы. Подумай, чтобы быть счастливым, не обязательно строить новый город. Есть много готовых городов. Ну?..

Поезд вздрагивает и медленно ползет вдоль перрона.

— Нет... я не могу, — шепчет она.

Его лицо становится жестким и надменным.

— Тогда прощай, — говорит он и вскакивает в тамбур.

Раскрытую дверь тамбура тотчас же заслоняет толстая фигура женщины-проводницы.

— Укатил соколик, —взвизгивает проводница, — ищи, девка, другого.

Быстро прогорел красный огонек последнего вагона, и вот уже замирает стук колес. И сразу делается невыносимо тихо. Слышно, как бьется сердце.

К луне крадется тяжелая черная туча. Становится темно. Девушка идет от станции в гору, туда, где светятся окна поселка. Шаги сиротливо шуршат по сухой траве. В открытых глазах слезы, и сквозь их пелену растут и заполняют весь взгляд сплошным неясным заревом огни будущего города.

Ранние страницы



Мечта в пути

В наружности этого человека я предполагал найти что-нибудь от суровых героев Джека Лондона или глубокомысленного Шерлока Холмса, а мне протянул руку юноша, среднего роста, простой, обыкновенный, с бесхитростной улыбкой.

— Владимир Бутырин. — И не без удовольствия добавил: — Студент юридического факультета.

В университет ведут разные дороги. Путь, который избрал Владимир Бутырин, — путь призвания, окрепшего в практической деятельности.

Еще учась в школе, Владимир мечтал стать юристом, но он знал, что прежде нужно глубже узнать жизнь, лучше постичь труд. На Ангаре, у Братска кипела грандиозная стройка. Комсомолец Владимир Бутырин понял: именно там бьется пульс большой, трудовой жизни.

Осенью 1956 года парень, только что закончивший школу, приехал в Братск. Профессии не было никакой, зато было большое желание взяться за работу. Стал учеником слесаря, а скоро и слесарем. Отлично справлялся со своим делом.

Весной 1957 года в котлован правобережной перемычки потребовались люди. Выбра-

ли самых инициативных, самых достойных. Среди них — Владимир. Он с энтузиазмом занимался тем делом, какого требовала растущая стройка: был слесарем, бурильщиком, плотником.

Как-то вечером Владимир с группой товарищей возвращался на автобусе с работы. Здесь же ехал некто подвыпивший и возбужденный. Сначала он бил кулаком в грудь себя, но, «увлекшись», стал бить и напуганных пассажиров и пассажирок. Немым свидетелем таких сцен Владимир не умел и не мог быть. Укрощенный буян был взят и доставлен в милицию, где снова бил кулаком, но теперь уже исключительно в собственную грудь.

Тем же вечером в общежитии бурильщиков состоялся разговор, который имел важные последствия.

Владимир говорил:

— Вы посмотрите, на танцплощадке появляются пьяные, развязные парни, и они себя там недурно чувствуют. Они даже задают тон. Как вы на это смотрите? С этим мириться нельзя.

Было решено вступить в бригаду содействия милиции. Владимир стал организатором, начальником штаба БСМ.

Как-то вечером к танцплощадке подвалили человек десять крепко выпивших парней. Они толкались, оскорбляли прохожих, изъяснялись ругательствами, куражились.

Вход на танцплощадку им преградили бригадмильцы. Начался разговор. Те, на которых не действуют убеждения, оказались в этот вечер в милиции.

Владимиру подбрасывают записки мрачного содержания: «Берегись!», «Если не порвешь связь с БСМ, составишь компанию Бобровникову». Комсомолец Бобровников — бригадмилец, зверски убитый хулиганами зимой 1955 года. Но нельзя запугать человека, убежденного в правоте своего дела. Бригада во главе с Владимиром продолжает действовать...

Уезжая из Братска, Владимир оставлял там только друзей.

...И вот университет. Вступительные экзамены сданы успешно. Поездка на сельхозработы, новые товарищи, учеба. Владимир сразу активно включился в общественную жизнь. Он вступил в десятый отряд народной дружины, избран членом студсовета первого общежития, участвует в выпуске факультетской газеты.

Мечта Владимира Бутырина — осуществляется, мечта уже в пути. Он стал студентом. Он будет юристом.

Ноябрь 1959 г.

«Тихий» уголок

Привыкли считать, что пасека — самый спокойный уголок в колхозе, место тихого отдыха, приют седобородых. Но это мнение само обрастает бородой. В жизни мало тихих уголков, а для того, кто молод, их вообще не существует.

Прошло уже два месяца занятий в Заларинской школе пчеловодов, когда к директору вошел парень в солдатской форме и с чемоданчиком в руках. Снял шапку и сообщил, что приехал учиться на пчеловода. Парень был настойчив, и его приняли. В учебе он быстро нагнал своих новых товарищей, вскоре был признан одним из лучших.

Александру Мотовилову везло. Он учился делу, которое нравилось ему с каждым днем все больше. И главное...

Саша стоял у стены, скрестив руки на груди, и задумчиво смотрел на танцующих. Он не умел танцевать. Надо было уйти, но уходить не хотелось. Время от времени он наблюдал за быстрой черноглазой девушкой, которую в этот вечер нельзя было увидеть неулыбающейся. И когда Саша вдруг увидел ее перед собой, он мысленно выругал себя за то, что не умеет танцевать.

— Почему вы не танцуете?

— Не умею. Если бы кто поучил...

— Пойдемте.

И они пошли... Танцевать Саша так и не научился. Ему больше нравилось бродить с Любой по вечерним улицам. Весна была во всем: и в зеленеющих рощах, и в шуме только что выставленных ульев, и в ее улыбке, и в его застенчивости.

Встречались они редко. Люба занималась в другой группе, Саша пропадал на пасеке.

В марте 1958 года Александр и Любовь Мотовиловы приехали в колхоз «Годовщина Октября» Куйтунского района. Колхоз помог им стать на ноги. Не терпелось попасть к пчелам. В мае приняли пасеку. Она оказалась слабой, больной, насчитывала всего 37 ульев. Работавший до них Грибачев — пчеловод без выучки, без опыта основательно запустил дела. А когда-то здесь было сто с лишним ульев, были хорошие медосборы и заправлял всем хозяйством дед Григорий Секирка. Дед ушел, чувствуя, что ему уже не справиться с этой большой пасекой. Случилось так, что Александр на два месяца должен был уехать из Кукдуя. Люба осталась одна.

Июль — месяц конца роения пчел и начала медосбора. Послеобеденный час. Жара. Беспомощно повисли зеленые руки берез.

Старик Секирка приходит на пасеку и, заглянув в какой-нибудь улей, насмешливо щурится и спрашивает:

— Ну, а с этим ульем ты что будешь делать?

— А что вы мне посоветуете?

Дед ухмыляется в свою подстриженную бороду.

— Где уж мне советовать. Я факультетов не проходил. Это ты мне скажи.

— По-моему, улей надо подсилить новым роем. Окрепнет.

Дед пристально смотрит на Любу и вдруг сердится:

— Под-си-лить! Выучилась... Выбросить его надо! Понятно? Вы-бро-сить!

Старик машет рукой, хватает свою трость и пылит по дороге плохо поднимающимися ногами.

Люба плачет и делает по-своему. Впоследствии этот улей становится одной из самых сильных семей на пасеке.

Лето 1959 года. Пасека выросла, окрепла. От каждой пчелосемьи получено около пятидесяти килограммов меда.

Люба и Александр заканчивают работу. Надо торопиться. Дела у них не только на пасеке. Александра избрали секретарем колхозной комсомольской организации. Надо забежать на ферму к дояркам, переговорить о создании комсомольско-молодежной бригады, предупредить о том, что завтра в клубе лекция. Люба теперь руководит колхозной самодеятельностью — дела тоже важные.

От села к пасеке бороздит дороги дед Секирка. Он смирился, подобрел, подолгу рассказывает о пчелах, советует, радуется успехам.

— Здорово, хозяева, — говорит он, присаживаясь на колодину, — опять старый трутень пожаловал. Не прогоните?

Мотовиловы подсаживаются к старику. Разговор почти всегда об одном.

Зимний вечер. Александр недавно вернулся с комсомольского собрания, где обсуждались обязательства, которые взяли на себя каждая доярка, каждый механизатор. Сам

Мотовилов заявил, что собирается увеличить пасеку до 200 пчелосемей. Дни Александр проводит в зимовнике пчел, а вечером склоняется над книгой.

— Как выйдут пчелы из зимовки? — задумчиво говорит Люба.

— Скорей бы весна.

Весна придет и принесет с собой массу забот, без которых немыслимо человеческое счастье.

Январь 1960 г.

От горизонта к горизонту

За Тулуном километров пять дорогу сопровождают пестрые от проталин поля, стелются зеленые ковры озими.

Но вот справа мелькнуло село Ермаки, к дороге тотчас же сбежались полчища сосен, берез, осин, и Братский тракт уже стиснут зелеными лапами тайги. Если где-нибудь сквозь прозрачный апрельский березняк и покажется вдруг чистый холм, то это не поляна. Это трасса, вырубленная строителями просека, по которой трехсотметровыми шагами железобетонных опор от Братска до Иркутска шагнет ЛЭП-500.

В четырех километрах от села Буслайки валит лес комсомольско-молодежная бригада Владимира Стукалова. В бригаде двадцать два человека. Все прибыли сюда в начале зимы, после демобилизации из армии. За зиму многие стали отличными пильщиками.

От ствола к стволу идут пильщики Анатолий Шевчук, Дмитрий Макаренко, Константин Мирошников, Иван Сморкалов. Стучит дизель, поют электропилы, и нет-нет да ухнет вдруг покоренная лесина. Этими звуками живет и дышит сейчас тайга.

Бригада Стукалова — передовая и не без основания взяла на себя ответственность добиться звания коммунистической.

„Как бы здесь не одичать“

Прямо на трассе, на отвоеванной у тайги земле, люди выстроили два дома. Во все их окна заглядывает чащоба темными, враждебными глазами.

Дело к вечеру. Лесорубы возвращаются домой. Здоровые, веселые парни. У умывальника толкучка, смех и довольно-таки звучные дружеские шлепки по голым спинам. Вытянули по спине и Сашу Якубинского.

— Мальчики, — говорит Саша, потирая ушибленное место, — к чему эти сентиментальности? Вы же взрослые люди.

Саша говорит всегда с расстановкой, не повышая голоса, плавным, назидательным тоном. Он здесь всех старше, ему уже тридцать с лишним. Его жизненный путь в прошлом делал непозволительные зигзаги, но теперь окончательно выпрямился. Он строил ЛЭП-220, а после окончания ЛЭП-500 готов перейти на строительство новой трассы. От прошлого остался только назидательный тон. Но в общем Саша человек дельный и, за что его здесь любят, веселый.

— Дети, не надо так галдеть... Ведь вот же Коля почему-то серьезный человек — не кричит, не толкается, — продолжает Саша, растираясь полотенцем, — он понимает, что бригадир должен быть человеком внушительным.

— Коля, что ты такой кислый? Что с тобой?.. Тебя обнесли в котлопункте?

Бригадир действительно не в духе, он машет рукой и шагает навстречу входящему в общежитие прорабу Лыско.

— Николай, знаю, — предупреждает его Лыско, — знаю: опять не хватило троса. Но что я поделаю?

— Черт знает что! На месяц нам полагается триста метров, а они дают нам тридцать! Что это? Насмешки? Мы что, ремнями должны бревна цеплять? А ведь у Ковригина на складе есть трос.

— Добьемся, добьемся, не шуми, — говорит Лыско и вдруг громко объявляет: — Ребята, кино приехало!

— Какое?

— «Война и мир».

Это сообщение производит на лесорубов большое впечатление. И в самом деле, оно необычно. В 1960 году кинопередвижка появилась здесь в четвертый раз. По этому торжественному случаю на 63 километр прибыл председатель постройкома Пивоваров, который тотчас же пообещал, что отныне фильмы пойдут здесь четыре раза в месяц. Ему не поверили.

Кто-то из парней, который, видимо, просто не выбрал еще времени для прочтения «Войны и мира», спрашивает:

— Кто написал — Алексей Толстой или Лев Толстой?

— Как бы мне возле тебя не одичать, — ухмыляется Саша.

...Это правда, здесь много неполадок. Кино — редкость, библиотеки нет в помине.

В Тулуне, говорят, много хороших коллективов художественной самодеятельности. Почему бы райкому комсомола не организовать концерты для лэповцев на трассе от Тулуна до Тангуя?

Лэповцы справедливо жалуются на работу отдела рабочего снабжения. В Тулуне ОРС организовал четыре магазина. А зачем они в Тулуне? Эти магазины должны быть на трассе. В автолавках, которые появляются у общежитий рабочих раз-два в неделю, отсутствуют товары широкого потребления. Чтобы купить белье или сапоги, надо ехать в Тулун...

«Война и мир» имела у лэповцев большой успех. Уже легли в постели, потушили свет, а все говорят о героях Толстого.

— Симпатичные люди, но одно нехорошо— тунеядцы.

Это сказал парень с крайней койки, «старый», заслуженный лэповец. Он блестящий бульдозерист. Днем он «выдал» две нормы, завтра собирается выдать больше.

Никто ему не возражает. Таков беспощадный приговор, вынесенный князьям Болконским и графам Безуховым их потомками, живущими в 1960 году.

Весна бывает всюду

День сверкнул холодным солнцем и незаметно растаял. Посинели сугробы, и из тайги в село поползла темнота. Наступил вечер, скучный, длинный, ничем не отличающийся от прочих зимних вечеров. Был канун нового года, но и по этому случаю тайга и даже улица села сохраняли хмурое равнодушие.

Тоня Морозова возвращается домой из соседнего села. Тоня — фельдшер, в соседнем селе она делала прививки.

Она идет уже по своей улице, но кругом тихо, как на дороге, которая осталась позади. Только сиротливо скрипят шаги. Ничего праздничного в ее настроении нет. О празднике она забыла и думает только о том, что было с ней днем.

В каждом доме ее встречали приветливо, кто-нибудь из ребятишек обметал с ее валенок снег, но когда в руках у нее появлялся шприц, она ловила на себе тревожные, недоверчивые взгляды.

В этом селе не знали фельдшера Морозову.

... — Тебе сколько лет? — спрашивает ее полная молодая колхозница — хозяйка крайнего в селе дома. — Ты умеешь ли?

Глядя прямо в прищуренные глаза женщины, Тоня говорит:

— Прививку сделать необходимо.

— Понятно, необходимо, — продолжает колхозница, — да ты-то сможешь ли?

— Смогу.

— Сможешь? Ну, ладно. Беда с тобой... Петька, снимай рубаху, будешь подвергаться... Ну смотри, девка!

От таких слов легко расплакаться, нагрубить, выбежать из избы, но Тоня только дольше копается в своей сумке, чтобы успокоиться.

— Вера Андреевна не это вводила. Другое лекарство было — желтое, — вдруг снова начинает мать.

— Тогда нужно было другое, а теперь — это.

— Ну-ну... Смотри, девка!..

Тоня снова копается в сумочке.

Дома ее встречает Тая Гончарова, ее подруга.

— Почему так долго?

— Подожди, Тая.

Тоня, не раздеваясь, садится на стул.

— Что с тобой?

— Они мне не верят. Не верят, понимаешь? Как работать, как жить? «Вера Андреевна не так делала, у Веры Андреевны не те лекарства, Вера Андреевна, Вера Андреевна!» Как же после нее работать?

— Перестань, Тоня. У Веры Андреевны все было точно так же, когда она сюда приехала.

— Нет, я не могу. Знаешь, Тая, я уеду. В Ярославской скоро зацветет сад. Мать давно зовет меня. Отец сердится, ему уже шестьдесят пять лет. Я уеду.

— Никуда ты не уедешь.

— Нет. Это тебе нельзя бежать — ты комсомольский секретарь. И я не сбежала бы, но я не могу...

— Ну, хватит. Сегодня праздник — будем петь, смеяться, пойдем в клуб. До нового года осталось полтора часа. Собирайся.

— Никуда я не пойду, — тихо говорит Тоня.

За дверью слышится шум, мужчина лет тридцати в дохе и с кнутом без стука вваливается в комнату. Лицо у него испуганное и огорченное.

— Товарищи девушки, дело-то в чем... Жена это самое... Поедемте, товарищи девушки.

— Что с вашей женой?

— Больна она...

Тоня слышала, что в Пуляевщине должна родить женщина.

— Вы откуда?

— Из Пуляевщины. Скорей, товарищи девушки!

— Рожает ваша жена? — спросила Тоня.

— Рожает...

Успели вовремя. От Тониной хандры не осталось и следа. Через два часа счастливый отец, все еще бледный и возбужденный, долго и несвязно благодарил:

— Спасибо... Вот ведь вы откуда приехали, чтобы у нас здесь все честь по чести... Спасибо...

Домой вернулись в четвертом часу. Спать не хотелось. До утра девушки разговаривали. Вспоминали далекий Майкоп, медицинское училище, весенние сады. Но больше говорили о том, что только что произошло.

— Ты знаешь, что я надумала? — сказала Тоня. — Надо открыть здесь ясли...

— Ты же собиралась уезжать, — перебила ее Тая. — В Ярославской у тебя сад вот-вот зацветет, там скоро весна. Ты же говорила, что не можешь здесь...

— Когда это? — притворно удивилась Тоня и добавила: — Весна и сюда придет...

Март 1960 г.

Я с вами, люди

— Об этом нелегко рассказывать. Прошлое у меня такое, что о нем трудно вспоминать. В нем мало хорошего и нет ничего счастливого.

Это говорит Александр Навалихин, плотник и художник СМП-267. Он ставит перед собой пепельницу и, глядя в окно, за которым целый день идет дождь, рассказывает.

Ему было шестнадцать лет. Он шел по вечерней улице с девчонкой, провожал ее из кино. На окраине города тихо. Только в дальнем палисаднике захлебывалась переборами счастливая гармоника.

Навстречу шел человек. Шел пошатываясь, балансируя в воздухе руками. Остановился и ни с того ни с чего длинно и грязно обругал Сашину девчонку. Кровь бросилась в лицо мальчишки. Он подошел к пьянице вплотную и потребовал замолчать. Но это только распалило последнего. Тогда Саша молча ударил по ухмыляющейся красной роже. Началась драка. Девчонка убежала. Пьяница — мужик здоровый, руки у него тяжелые, безжалостные. Тонкие мальчишеские руки быстро шарили на земле камень.

Возвращались из кино Сашины приятели. Пьяница был крепко побит. Хрипло ругаясь, он убежал в темноту улицы. Перед дракой пьяный снял пиджак и бросил под ноги.

Так Саша оказался перед судом. Его осудили на пять лет.

С поезда, остановившегося в Минусинске, сошел молодой человек, одетый по-осеннему, небритый, без вещей. Быстро, нигде не останавливаясь, он зашагал по улицам ночного Минусинска. Из плотного морозного тумана выплывали черные, деревянные дома. Гулко скрипело под сапогами. Миновав несколько улиц, молодой человек побежал. Через пять минут он трясущейся от холода и нетерпения рукой распахнул калитку чистенького дворика с черным угрюмым домом посредине и бросился к окну.

Стучал он долго. Наконец дверь скрипнула, кто-то вышел в сени.

— Вам кого?

— Откройте! Навалихина мне... Я сын его. Пять лет не видел.

— Навалихин здесь не живет.

— Откройте!

Дверь чуть подалась и вдруг распахнулась рывком, хлопнув внешней ручкой о стену. Луч карманного фонарика медленно обшарил всю фигуру молодого человека. Потом дверь также внезапно захлопнулась.

— Таких не пускаем, — послышался голос из сеней, — беги на вокзал, загнешься.

Молодой человек зашагал обратно. Ногой двинул калитку.

— Постой! — послышалось сзади. — Вернись!

Он, чуть помедлив, вернулся к порогу.

— Проходи. Был в твоей шкуре, а потому... Ну, проходи, проходи.

Молодой человек вошел в дом и безвольно опустился на первую табуретку.

— Где мой отец?

— Нет здесь его. И когда мы купили дом — тоже не было.

Мужчина, который открывал дверь, был средних лет, невысокий, глаза навыкате. За столом, отставив недопитый чай, сидела худенькая женщина. Пристальным, полуиспуганным взглядом она изучала незнакомца.

— Откуда? — спокойно спросил хозяин.

— Из тюрьмы.

— Вижу. Из какой?

— Не все ли равно?

— Ладно. Куда завтра?

— Искать отца.

Отогревшись и поужинав, Навалихин сел у открытой печки и, прищурившись, стал смотреть на тлеющие красно-синие угли.

— Кто такие?

— Я служащий, она — домохозяйка, — растягивая слова, ответил хозяин. — А что?

— Говоришь, был в моей шкуре. А теперь?

— А теперь я служащий, а она — домохозяйка, — загромыхал хозяин, — и вот что, парень, завтра же мотай отсюда по холодку. Лучше будет. И советую тебе с этим делом заканчивать.

Утром хозяйка дала Навалихину телогрейку, шапку, и, простившись, он снова вышел в морозный туман.

— Я знал, что некоторые «завязывают» — кончают преступную жизнь и живут по-новому, по-хорошему. Были и в тюрьме у нас об этом разговоры. Но таких я видел первый раз. Тот хозяин, видно, в прошлом был из

матерых. И в то же время было ясно, что переменился он совсем, навсегда. Я много о нем думал и сам решил «завязать». Но это было тогда не убеждение. Это было только отчаяние и усталость от своей беспутной, горькой жизни.

Отца и сестру я нашел в Барнауле. Приехал с подарками. А подарки-то были ворованные. Отца убедил, что работаю честно. А через несколько дней попался с кражей.

И снова суд.

К мысли покончить с моей темной жизнью я возвращался тогда все чаще. Особенно не давал мне покоя тот новый хозяин отцовского дома. Со мной он разговаривал грубо и даже брезгливо. А ведь тоже бывший вор. Я почувствовал в его перемене решимость и убежденность. Все чаще думал о честной жизни. Все бессмысленнее мне казалось то, что я, еще молодой человек, живу за чужой счет, прячась и озираясь. И я решил жить по-новому.

Они сидели на только что поваленной лесине, отдыхали, курили. Весенний день перевалил за первую половину. Был слышен шорох скользившего на землю наста. Тракторная колея наполнилась водой.

Навалихин забавы ради затесывал желтую спину длинной, ровной сосны. На конце этого ствола сидел Зяблик, щуплый, заросший человек лет сорока. Зяблик колючим взглядом следил за медленно переступающим к нему вдоль ствола Навалихиным. Недавно Навалихин нарисовал пьяницу Зяблика в стенгазете, а теперь забыл об этом.

— Пусти, — спокойно попросил Навалихин.

Зяблик не шевельнулся. С ненавистью глядя прямо в глаза, Зяблик говорил:

— Садись, отдохни. Много работаешь. Лучше всех хочешь? Цветы хочешь выращивать? Ну, мы тебе покажем цветы! Мы тебя научим.

— Вам меня учить нечему. Вы сами ничего не понимаете.

— Слышали? — сказал Зяблик. — В люди лезет.

Все слышали. Здесь были сторонники и Навалихина, и Зяблика.

— Ты догадался: хочу стать человеком. Мне совестно, что я долгое время походил на тебя.

Наступает молчание.

— Что же это такое! — взвизгнул Зяблик. — Бей его!

Зяблик бросился на Навалихина, но его удержал за ворот Кренев, большой, благодушный и неизменно справедливый парень. Те немногие, кто не уважал Кренева, боялись его.

— Спокойно, — сказал Кренев, — не прыгай, Зяблик. И не лезь больше к нему.

Зяблик тихо сел на место, но как только Кренев отпустил его, снова бросился к Навалихину. На этот раз в руке у него был нож. Они покатились по земле.

Никто не успел вмешаться. Зяблик размахнулся, ударил в грудь, но Навалихин молниеносно среагировал — рука с ножом попала между ребрами и рукой Навалихина. Тут же Зяблик вскрикнул, нож выпал из ед-

ва не сломанной руки. Навалихин молча поднялся и швырнул нож далеко в желтый сосняк.

— И вот я здесь, — в строительно-монтажном поезде. Приехал весной. «Как меня встретят? Подаст ли кто-нибудь руку?» — думал я. Уже несколько лет я увлекаюсь рисованием. Меня рекомендовали как художника. Прихожу в отдел кадров. Встречает меня парторг Журавлев. «Художник нам нужен, но еще больше нужны нам сейчас плотники».

Пришел в бригаду. Поработал день, другой и понял, что мне верят. Понимаете, мне верят! Сейчас у меня здесь много друзей. Настоящих, искренних. Они знают обо мне все. Я переполнен благодарностью. Мне хочется сказать знакомым и незнакомым, всем, кто живет и работает в наше чудесное время: «Я виноват перед вами, люди. Ваше доверие, ваше великодушие бесценны. Хотя бы часть их я оправдаю честным трудом».

Август 1960 г.

Поезд идет на запад

— До отхода поезда осталось пять минут...

Это сказано без сожаления, сонным, равнодушным голосом из репродуктора. А девушке в розовом плаще хочется плакать.

Еще сейчас она видит лица подруг, перебирает протянутые со всех сторон руки и говорит быстро, сбивчиво, со всеми сразу. Руки такие горячие, лица такие знакомые. А через пять минут — все будет незнакомо и неизвестно. Девушку провожают. Подруги только что пели, смеялись, но сейчас грустны и серьезны. Все они — вчерашние студенты — теперь разъезжаются на работу. Особенно грустно уезжать первой. Чтобы не заплакать, девушка быстро и сбивчиво говорит. А тут еще дождь, мелкий, противный, бесконечный, как сама разлука.

И голос проводника, сердитый, требовательный:

— Пассажиры, пройдите в вагон.

Никто, кажется, не слышит.

— Пройдите в вагон, — повторяет Сталина, обращаясь прямо к девушке. «Пора бы им уже целоваться», — думает она. И на самом деле девушки целуются и всхлипывают...

У вагона крутится субъект без чемодана. Свой равнодушный взгляд он не спускает с

подножки. Явный «заяц». Попади он в вагон — обязательно влезет на багажную полку или угрюмо остановится в тамбуре, готовый к высадке на любой станции.

Только что сошел дядя, недовольный тем, что нельзя курить в вагоне, открывать двери в тамбуре на ходу, недовольный, наконец, тем, что станция Нюра находится перед Тулуном, а не наоборот. Трудно угодить такому человеку. В купированный вагон, где проводником Тамара Колотыгина, ломился на предыдущей станции мужчина средних лет. Солидный, с прекрасным чемоданом. Предлагал сто рублей за место в купе. Был назван спекулянтом. Остался недоволен, потребовал бригадира поезда. Бригадир был в дальнем вагоне, и Тамара пригласила Сталину. Сталина подтвердила недовольному мнение, сложившееся о нем у Тамары. Убедили. Пассажир успокоился и про себя решил заказывать место в купе заранее.

В купированных вагонах поезда «Иркутск — Красноярск», обслуживаемом бригадой Ивана Семеновича Дербенева, на каждом столике стоят цветы. Они приобретены девушками-проводницами. Но попадаются иногда пассажиры, убежденные в том, что сорить в вагоне их законное право и чуть ли не священная обязанность. Конечно, убраться в вагоне проще, чем привести в порядок совесть такого пассажира, но проводники спокойно таких уговаривают. До Зимы, где поезд мчит электровоз, в вагоне в десять раз чище, и недаром, встречаясь в Тулуне с парнями, подвешивающими контактную сеть, девушки справляются об окончании работ на участке Зима —

Тайшет. Обещают к первому октября. Девушки на них надеются. Так же, как и большинство строителей электрификаторов, проводники из бригады Дербенева пришли на железную дорогу из школы и работают здесь год-два, а некоторые пережили свою первую поездку совсем недавно.

Для Сталины Овчинкиной и Галины Софиной еще недавно гудки электровоза были далекими, чужими звуками. Девушки ходили из Смоленщины в Баклаши в школу, слушали мерные голоса железной дороги и не знали еще, что через два года голоса эти будут близкими, родными. Сталина вспоминает свою первую поездку проводником. В вагоне пригородного поезда было тесно и шумно. Сталина стояла в тамбуре робкая, неумелая, скорее похожая на скромного пассажира. Теперь...

Поезд вздрагивает и тихо идет вдоль вокзала. Девушка машет подругам маленькой желтой сумочкой. Небрежно засунутый в сумочку билет падает под ноги. Нечаянно наступивший на билет парень загоняет его в угол тамбура. Девушка проходит в вагон и тихо садится к окну. Подходит ревизор, высокий мужчина в очках с усталыми глазами.

— Ваш билет?

Билет лежит в тамбуре. Девушка лихорадочно обшаривает свою сумочку. Испуганные, виноватые глаза. Билета нет. Кто поверит ей, что он был? Что делать?

Сталина обращается к ревизору.

— У нее был билет.

— Тогда где же он? Может быть, у вас? И у вас нет? Где же он?

Ревизор пожимает плечами.

— Поищите, я сейчас вернусь, — говорит он, обращаясь к Сталине.

Сталина метет в тамбуре. Билет лежит маленький, незаметный. Сталина довольна, девушка благодарна. Поезд мерно отстукивает свой веселый, легкий ритм...

— Граждане пассажиры, на вашу станцию прибывает поезд номер шестьдесят один. На этот раз поезд обслуживает примерный коллектив — бригада Дербенева. Граждане пассажиры, приготовьтесь занять ваши места!

Август 1960 г.

Принимай, серебряный конвейер!

Саяны видны здесь с любого пригорка: за щетинистыми горбами сопок — множество воздушных замков из синевы и белизны. Это на юге. А в другие стороны, куда ни глянь — лес, лес, лес.

Но чтобы понять, сколько в этом краю леса, надо забраться на одну из сопок. Тогда перед глазами, разметав косматые волны, захлестывая воображение своей безбрежностью, предстанет зеленый океан.

Лес, лес, лес... Клад, который не надо искать. Сокровище, название которому — Сибирь.

Леса надо много, лес нужен везде. Потому без отдыха, без устали несут его таежные реки на своих гладких покорных спинах.

По всему району разбросаны лесопункты Тулунского лесного хозяйства. Здесь, у Саян, их несколько. Аршан, Ишедей, Икейский. Отсюда по рекам Икей и Ия лес идет щедрым плановым потоком к Тулуну.

Поток этот не должен прерываться. Сибирь строится. Нужен лес.

Урочище Нижний Бурбук — просто тайга. Из Икея туда ведет тридцатикилометровая дорога. Четыре раза в сутки мчит по этой дороге автобус. Работают в две смены.

...Длинный июньский день чуть только пе-

реполз за половину — едет вторая смена. Две малых комплексных бригады. Быстро потолковали с Алексеем Ивановичем, мастером, разошлись.

А ну, как сегодня? Николай Герасимов, бригадир, шагает к своему трактору. Мастак Иван! Валит — в самый раз. Хлысты смотрят прямо в сторону погрузки, по ходу. Знай цепляй!

Трактор затрещал, затрясся, вроде бы от нетерпения. Начали!

Нужен лес. Там, за тридцать километров, ждет его река — серебряный конвейер. Начали!

Прицепщик Николай Дмитриев, опять же, парень старательный. Все бегом, все бегом.

Лес добрый. Больше всего сосна и лиственница. Но почва — никуда! Слабый, вконец вязкий таежный суглинок. Подцепил четыре хлыста — под гусеницами месиво из земли, травы и веток. И вроде место не низкое. Газанул. Бесполезно. Трактор сел уже по самый радиатор.

Николай глушит мотор. Такая вдруг досадная тишина. Прыгает на землю. Вместе с бензиновой гарью запах истерзанной гусеницами черемши. Николай бежит к другому трактору, заводит его. Дмитриев входит в кабину застрявшего. Пошел! Хлысты, цепляясь за пни, волокутся к МАЗу.

Кругом не видно живого места. Все черно. Земля изрыта, вспахана, покорябана.

Нужен лес. Река не ждет. Река простаивает.

Наконец! У мачты набралась пачка хлыстов для МАЗа. Начали грузить. Мачта —

столбы, блоки, трос. Погрузка крупнопакетная. Работяга-трактор волочет трос, лесины отрываются от земли, подкатывает МАЗ. Трактор сдает назад. МАЗ загружен. Двадцать два кубометра леса готовы в дорогу.

Бригадир малого комплекса тракторист Николай Герасимов в мае отличился. Стрелевал и погрузил 1774 кубометра леса вместо 1248 плановых. И у других, в бригадах у Белых, у Галинского, Гладких тоже было хорошо. Икейский лесопункт вместо плановых 4000 сдал 6605 кубов леса. В июне план прибавился, но дела идут неплохо.

МАЗ метров четыреста на дорогу тянет трактор. Николай махнул шоферу рукой: быстрей поворачивайся.

Шофер Павел Ульяженко знает не хуже других, как ждет леса река. Но за самым участком, на бревенчатом мосту МАЗ буксует вдруг самым бессовестным образом. Отказывается переезжать задними колесами большое скользкое бревно. Выручил МАЗ, идущий навстречу. Остальная дорога сносная — сухая, песчаная. Налево и направо метров триста пни и березки — здесь лес уже взят.

Надо скорей. Шофер молчит. За спиной двадцать два куба, а дорога — вон она — заколесила.

Мелькнули за редким соснячком дома лесопункта, поворот, снова поворот и вот уже заблестела впереди река Икей.

Торжественно по деревянному настилу МАЗ плывет к самому берегу. Встречает его бригада Михаила Максимова. Отсюда с нижнего склада Икейского лесопункта отправляют лес в большую, полезную людям жизнь.

Здесь его раскряжевывают, чистят, спускают в воду.

МАЗ останавливают, и трактор-толкач в минуту освобождает его от хлыстов. Чистят лес ловко, одним точным ударом топора сбивая толстые суки. Надо видеть, как это делает Александр Курочкин, парень молодой, но проработавший штабелевщиком уже пять лет.

Потом моторист Павел Дрылов режет каждую лесину на бревна, девушка-бракер пишет на них свои цифры и — счастливого пути!

Нужен лес. И лес идет!

Июнь 1961 г.

Веселая Танька

В бригаде монтажников Кузьмы Хищенко она всеобщая любимица и самый веселый человек. Оттого весь день на стройплощадке слышно:

— Танька.

— Танька-а...

— Танька!

У Таньки большие зеленые, какие-то постоянно счастливые, вызывающе счастливые глаза. Такие глаза говорят о том, как нелепы старость, болезни, ложь. «Да и бывает ли все это», — говорят Танькины глаза. Ходит Танька легко и гордо, как и должен ходить по земле человек. Как-то работавший рядом с ней штукатур, пожилой, хмурый, все о чем-то вздыхающий дядя, сказал:

— Веселая твоя, девка, звезда...

Где горит эта звезда, счастливая ли она и существует ли вообще — сама Танька этого не знала. Сама Танька сильно сомневалась в ее существовании. Но почему-то все Танькины новые знакомые были уверены, что такая звезда есть, и горит она так же весело и ярко, как живет на белом свете сама Танька...

Как все шестиклассницы, она мечтала стать артисткой. И как девяносто девять из ста шестиклассниц артисткой она не стала. Танька не кончила даже средней школы.

Мать и два брата не возражали против того, чтобы она училась. Просто братья были маленькие, а мать была больна. Танька получила паспорт и сразу же стала штукатуром.

Раз, вернувшись с работы, она застала дома незнакомого парня. Он и Танькин брат Володя сидели за столом и выпивали. Прямо с работы, оба немытые. Парень все смешил брата, смеялся сам, зубы сверкали на чумазом лице. Весельчак. Танька узнала, что парень этот — приятель брата, слесарь. Но внимания на этот раз не обратила на него никакого.

Потом он ушел служить, писал брату письма, а через год вдруг вернулся. В первый же день надел костюм, выпил и — к Позняковым, к дружку. Перед дверьми столкнулся с Танькой. В коридорных сумерках выделялись руки, лицо и ноги в домашних туфлях.

— А... Это ты? — задумчиво сказал он, глядя на повзрослевшую Таньку. — Так...

На этот раз она посмотрела на него внимательно, но промолчала.

Он стал приходить каждый вечер, сначала будто бы к брату, потом к ней. Таньке он понравился: простой, веселый и, кажется, влюбленный в нее, в Таньку.

Апрель в Усолье — еще не весна, а только весенний воздух, а только почерневший под заборами снег и серые скользкие тротуары. Под окнами по старым усольским улицам свистят на ветру голые акации. Танька бежит домой. В лицо запахи дыма, бензинной гари и запах подтаявшей на дорогах земли. Неизвестно отчего Таньке весело. Вот еще за угол — и дома. Возбужденная быстрой ходь-

бой, весенним ветром, веселая, радостная Танька шибко распахнула дверь.

За столом сидели Сухоруковы. Отец и мать. Отец высокий, седой, степенный. Мать большая, толстая, с пристальным острым взглядом. Рядом Танькина мать и брат Володя. Выпивали. На Таньку уставились все разом. Сухоруков даже повернул к порогу стул.

Танька побледнела. Сватать пришли! Еще утром приходил Владимир. Нарядный, в новой каракулевой шапке, белое кашне, блестящие новенькие полуботинки. Думала, отчего такой нарядный... Шептал что-то матери. Вот прислал теперь... сватать.

Танька растерянно, широко открытыми глазами, смотрела на седую голову Сухорукова. А видела только светлое пятно, да и оно расплывалось. Танькина мать улыбалась и плакала. Брат Володя заиграл на гармонике. Танька хотела бежать, ноги будто отнялись. Ее привели к столу, усадили.

— Это, — показывая на родителей Владимира, сказала Танькина мать, — теперь отец тебе, а это... теперь твоя мама...

Сказала и закрыла лицо платком...

Усолье есть новое и есть Усолье старое. Новое из кварталов с домами-громадами, а между ними старое — деревянные домики с резными и крашеными наличниками, с черемухой и акациями под окнами, с лохматыми псами по дворам. Танька жила в новом квартале, а вышла замуж — ушла к Сухоруковым — на старую улочку.

Была и свадьба. Родня сидела на свадьбе по разным сторонам стола. Поздняковы — по

одну, Сухоруковы — по другую. Танька весь вечер видела хмурый, колючий взгляд матери Владимира.

А потом Танька поняла, что свекровь ее невзлюбила. Стала свекровь придираться по пустякам, выговаривать за немытые кастрюли, пошла, как водится, по соседям рассказывать, какая непутевая у нее невестка. Сам Сухоруков оказался добрый, заступался за Таньку. А Владимир молчал, словно не его это дело.

— Володя, за что она так? — спросила раз Танька Владимира. И услышала в ответ:

— Значит, так надо...

Прошла после свадьбы только неделя, а Владимира будто подменили. Стал попивать, грубым стал...

Танька вернулась с работы и сразу же засобиралась к своим. Мать увезли в больницу, ребятишки остались одни, постирать надо было, помыть.

— Куда так торопишься? — спросила свекровь.

— В больницу, к маме.

— К маме, говоришь. А ты посуду вымой да мужа дождись. Может, он тебя не пустит...

Танька не стала больше разговаривать и хлопнула дверью.

Вернулась она поздно, в одиннадцать часов. Владимир как раз умывался, на Таньку даже не обернулся. А она зачерпнула в ковш чуть-чуть воды и, смеясь, плеснула ему на спину.

— Нагулялась? — мрачно спросил он.

Улыбка замерзла на Танькином лице, она тихо села на лавку.

— Домой ходишь... Врешь! К мальчикам из своей бригады ты бегаешь.

Свекровь только этого и ждала...

И так часто.

Раньше Танька ходила в клуб, в хореографический кружок. Запретили. Танька любила свою мать, своих братьев. Были этим недовольны.

Сухоруковы не любили художественной самодеятельности, не любили общественных поручений, комсомольской работы. Они любили себя, свой домишко, Владимир любил еще выпить.

И душным июльским вечером Танька ушла от Сухоруковых. Было чего-то стыдно, было обидно, месяц Танька не находила себе места. Но назад не вернулась.

Владимир приходил к Позднякoвым — выпивший, с бутылкой водки в кармане. Приходил мириться. Брат Володя выставил его за дверь.

Танька кончила учкомбинат и стала сварщицей. Пошла в хореографический кружок. Но Сухоруковы не забывались. О Владимире она часто думала и робела при мысли о встрече с ним.

Как-то у клуба встретился Таньке Владимир. Она возвращалась с занятий хореографического кружка. Владимир старался подойти вплоть.

— Вернись! Говорю тебе, вернись.

В его голосе не было ничего, кроме злобы.

И Танька, не говоря ни слова, быстро пошла дальше, мимо пьяного, чужого, ненужного ей человека.

Танька шла новым кварталом, мимо свет-

лых окон, за которыми жили, наверное, счастливые люди. Они должны быть счастливыми, раз живут они в таких красивых, новых домах. Так думала Танька...

Владимир, говорят, недавно женился. Он, говорят, взял девчонку со своей улицы.

Февраль 1961 г.

День-ночь, день-ночь...

День за днем, ночь за ночью, беспрерывно, до победного конца звучит на полях рокот моторов — суровый марш урожая. Четкий и властный его ритм слышен сейчас повсюду.

За Алятами, Артухой, за Индоном — тайга и Саяны. Перед темной могучей пастью тайги здесь дерзко желтеют поля. Полосатые — скошенные, в копнах, сверкающие стерней — убранные, живые лоснящиеся — ждущие свой черед.

Черед их пришел.

Посторонитесь, березы!

У тракториста болят руки. Ночами перед коротким, незаметным, как приход осени, сном у тракториста Семена Брыжыватого болят руки. Виноваты березы. Зелеными прохладными островами, поодиночке — щербатые и белоногие — стоят они в пшенице по всему полю. Литовкой все не обкосишь. По-осеннему меланхолически свесили березы ветви. Рубить надо березы...

В шесть часов утра на улице Хандагая затрещат мотоциклы и укатят за село. Протрещат они на Чертовом мосту над Индоном,

провизжат на подъеме и заглохнут у Моховой пади. А потом заворчат тракторы. В поле за Чертовым мостом, в Моховой пади, на Клеверище земля щедра, да вот беда: много берез и потайные пни.

Но может ли утаить поле что-нибудь от человека, который убирает на нем девятый урожай? Поле, знакомое наизусть, покорное, лижет комбайн золотыми волнами. Николай Баганов, хозяин СК-3, намерен нынче скосить двести и подобрать четыреста гектаров зерновых. Николай работает на повышенных скоростях, чему научился у бывшего здесь в прошлом году оренбургского механизатора Афанасьева.

Рядом в поле за Чертовым мостом кружат агрегаты Ивана Горохова и Бориса Петеля.

До обеда поле будет скошено, и штурвальный Роман Очередной разглядит все потайные пни на первом из срезанных им массиве.

После обеда СК-3, покачиваясь, проплыл через лощину, заставленную стогами. Перед холмом, за которым начинается Моховая падь, на минуту остановился. Высунулся Баганов, показал ребятам рукой: «Здесь?» — «Здесь! Здесь!» — замахал Горохов. И комбайн пошел в гору. Когда массив был разрезан, наскочил ветер, испуганно зашумели березы, заволновалось поле, и Моховая падь оскалилась двумя-тремя потайными своими пнями. Семен завел трактор.

Внизу комбайн проходил в тридцати метрах от речки. За елями, за кочками в воде отражаются темно-зеленые тени тальника, светлые клочки неба. Хорошо сейчас освежить ли-

цо, руки, грудь, сесть на кочку и с толком выкурить папиросу.

Каждый раз, как комбайн приближается к Индону, семнадцатилетний Роман надеется: вот Семен остановит трактор, сбегаем к воде. Но Семен не останавливается. Агрегату Бориса Петеля есть задание: срезать на этом трудном поле за пять дней сто гектаров пшеницы. А скосят они больше.

Ветер стих, присмирели деревья, чуть колышется в воде отражение тальника. Семен не останавливается.

Посторонитесь, березы!

Внуки вышли за околицу

Артуцкие деды крепки, как крепки еще старые, ими же построенные дома. В начале века, переселившись из Белоруссии, они настроили вдоль таежной речки целую улицу добротных, вечных домов. Они сеяли здесь хлеб, родили детей, прогнали кулаков, снова сеяли хлеб, создали коммуну, создали колхоз, и снова они сеяли хлеб.

Дед Скакунов, участник крестьянской коммуны двадцать шестого года, убирает урожай шестьдесят второго. Дед подвозит к комбайнам горючее. Сегодня он сердит. На поле сошлись три комбайна, одному всех не обвозить — за горючим ездить десять километров, до Бабагая, тракторист запалил его лошадь, не сегодня-завтра начнется дождь, лучшего комбайнера Тущенцова «перегнали» в Шангино — неправильно и т. д. Дед суетится, дает советы, ругается.

— Почему так? Тущенцова турнули в Шангину, а здесь — одни ребятишки. Гляди, какая гвардия. Тракторист — парнишка, комбайнер — парнишка, штурвальный вот, гляди, совсем пацан.

— Разве это плохо, Трофим Потапович?

— Разве плохо? — соглашается вдруг дед. — Петька, паршивец, на прясле сидел-сидел — и на тебе: в прошлом годе прицепщиком, нынче уже тракториста достиг. А лагун он у меня помял. Трактором помял. Этот вот штурвальный Мазур, сколь ему? Шестнадцать есть — хорошо, а то и этого нет. Алещигов, Кеша Грачев, Ефременко. Вот они, паршивцы! И все перебывали на курсах в Заларях или в Кутулике...

Выросли, Трофим Потапович, ваши внуки. Выросли, выучились и вышли внуки в поле.

Кружат комбайны за околицей. Солнце жжет из последних своих сил. Неподвижны хлеба, неподвижен лес, над головой твердая ровная синева. И только комбайны кружат за околицей.

Рая Снегурская на копнителе. Окончено семь классов, молодость начинается со страды. Весь день перед глазами поле и солнце. Весь день вытирает девчонка локтем пыль с лица, с непобедимых своих веснушек.

К вечеру агрегатами Ивана Сорокина и Алексея Обухова было скошено пятьдесят гектаров.

Солнце садилось. Закричал, требуя машину, комбайн. По дороге дед пропылил в Бабагай за горючим. И вечер, прохладный синий вечер коснулся воспаленных губ страды.

Перо
и грабли

В Алятах, в клубе, рязанская девчонка выводит на большом листе бумаги плакатным пером: «...на подборке валков 16—17 га... сменную выработку жаткой 22—25 га». Написанное она присоединяет к нескольким другим листам с диаграммами, плакатами. Все это будет наклеено на стены сушилок, токов, ферм.

Со связкой книг, с рулоном она выходит на улицу, стоит на крыльце. Через пять минут на лошади, в ходке к клубу подъезжает другая девчонка. Она бросает вожжи, бежит к первой. Быстро-быстро они говорят. Атаман, тишайшая каряя лошадь, стоит покорно, хвостом отгоняя с крупа зеленых мух.

Потом библиотекарь Алятского клуба Светлана Лисовская и секретарь колхозной комсомольской организации Римма Клюева садятся в ходок и едут каждая по своим делам. В Высотском Римме надо провести собрание, прочитать обращение райкома партии. Светлане в Высотском надо побывать у «передвижника», штурвального Федотова — сменить книги, на ток привезти лозунг. Потом в Халты, в Мардай, в Больше-Усовск...

Едут по улице. Слева озеро, забытое, без единой лодки. На том берегу березы пышны и приземисты, как далекие рязанские липы. Выехали за село, новый горизонт развернулся большим хлебным полем.

...Далеко сияют
розовые степи,
Широко синеет
тихая река.

У дороги в пыли, в грохоте, сотрясаясь от напряжения, трактор протащил С-6. За ним струился блестящий на солнце валок. Подруги проводили комбайн долгим взглядом.

Ах, перо не грабли,

Ах, как не ручка...

Но в ходке лежат обязательства, лозунги, стенды. Горький, Гоголь, Фадеев. Библиотекарь смотрит на часы: в Высотском ждут — нельзя опоздать. И секретарь вожжой подбадривает Атамана.

Ждут их и в Халтах, и в Мардае, ждут в Больше-Усовске.

Гимн хорошей погоде

Над землей идут облака. Белые, драгоценные над желтоголовой роженицей — землей.

— Еще десять дней этой благодати, и дело будет сделано, — глядя на них, сказал комбайнер Борис Петель.

Днем и ночью у телефонов дежурные гидрометслужб.

— Легкая облачность...

И слышат в ответ:

— Спасибо.

Здесь, в чистых тихих комнатах, — горячее дыхание страды. В Зелирях молодой техник-метеоролог Светлана Воробьева отвечает комбайнерам, агрономам, председателям:

— Будет хорошая. Должна быть...

Идут над землей облака — белые паруса страды. Под ними по желтым полям идут

комбайны, и солнце сторожит священный этот пейзаж.

— Еще десять дней...

Рев моторов, горючее, охрипшие бригадиры, тока, крики комбайнов, короткие сны, пни, березы, пыль, телефонные перестрелки, сводки, транспортеры, зерно, зерно...

Еще десять дней...

Сентябрь 1962 г.

Зиминский анекдот

Внезапно нагрянула жена. А с ней младенец-сын и теща Мария Филимоновна. И они остановились в дверях.

Муж Коля сидел за столом. А на столе были консервы, виноград и водка. А у окна стояла девица Маша.

Коля смутился. От неожиданности. А Маша — ничего. Поздоровалась даже с Марией Филимоновной. Очень непринужденно.

Потом Коля и Маша ушли.

— Ну и что же? — скажет читатель. — Муж разлюбил жену. Бывает ведь такое. Полюбил другую. Страдал, боролся с собой. Сказал последнее «прости» и ушел. Бывает, что поделаешь. Любят, страдают, борются, уходят. Бывает, возвращаются.

Бывают комедии и драмы. Случаются трагедии.

Жанр, в котором выступил недавно рабочий Буринского леспромхоза Николай Бойко, — ни драма и ни комедия. Это — анекдот. Грубый, невеселый анекдот.

Итак, Маша и Коля вышли погулять. Пусть погуляют. А мы тем временем начнем эту историю сначала.

То было раннею весной. Впрочем, Колина мамаша говорит, что уже были посажены огороды. Коля привел в дом Тамару. Девят-

надцатилетнюю. Скромную. Наивную. Она жила в селе Подгорном, там они познакомились. Коля наскоро поклялся в любви и увез девушку в Зиму.

Коля женился, но жениться ему было не впервой, и мы, может быть, придаем этому слишком большое значение. Потому перейдем прямо к семейной хронике.

Но прежде познакомимся с Феодосией Бойко, Колиной мамашей. Знакомство не из приятных, но ведь не все наши знакомства приятные. Существуют знакомства необходимые. Феодосию Бойко знать необходимо. Для того, чтобы никогда с ней не встречаться. Черное сутяжничество, хамство, стяжательство слились в ее характере, как сливаются воедино трубы канализационной системы. Оскорбить сына, отматерить ребенка, оболгать прохожего — все может эта гражданка. Прибавьте сюда еще скупость, ворожбу, «врачевание» недугов, и представьте эту женщину в роли свекрови. Для невестки — это Сцилла и Харибда, два эпических чудовища, вдруг объединившиеся в одно и заговорившие на русском языке.

Скандалы пошли, как грибы. Свекровь была дьявольски изобретательна. Когда в доме затихали оскорбления и оплеухи и наступали голубые часы бесконфликтности, свекровь нервничала.

Чернее тучи она металась по комнатам и вдруг объявляла, что из буфета украдено три банки брусники. Кто украл? Не невестка ли? Нет? Посмотрим! Свекровь бежала к своей подруге, которая разгадывала сны, предсказывала насморк и конец мира. Подружки рас-

кидывали картишки, и все становилось как божий день ясным.

Дома свекровь, хвативши кулаком по столу, торжественно кричала:

— Бруснику стащила бубновая дама и червонный король. Вместе с банками! Что! Отвертелись?

Так они и жили. В непрерывных скандалах Тамара ожесточилась, в доме стало темно от матерщины и зуботычин.

Молодые ушли от Феодосии Бойко на частную квартиру, но от скандалов они не ушли. Потому что Феодосия исправно их навещала. Потому что Коля и сам по себе тоже был хорош. К тому же он пил и от водки не делался лучше.

Когда у них родился сын, свекровь тут же усомнилась: Колин ли это ребенок? И заскучала, когда поняла, что ребенок Колин: не было повода для скандала. Предыдущую Колину жену она оклеветала самым грязным образом. Оклеветала и выжила из дома.

Потом они получили квартиру, ту самую, в которой Коля пировал с девицей Машей.

Как-то Тамара прочитала в газете о курсах продавцов. Решила учиться (до этого она работала уборщицей). Коля согласился. Ребенка решили увезти к Тамариной матери.

Так и сделали. Тамара уехала в Залари. Вову увезли в Подгорное. И Коля остался один, совсем один.

В первое же воскресенье Тамара (она заехала за сыном и матерью) приехала навестить мужа. Мы уже знаем, что она выбрала для этого неподходящее время.

Так вот, Коля и Маша погуляли и верну-

лись. В первом часу ночи. Сначала в дверь постучала Феодосия Бойко.

— Где мой Коля? — спросила она.

Потом появился Коля. И Маша. Можно было подумать, что они пришли сказать последнее «прости». Но Коля ничего не сказал. Он ударил Тамару по голове. И еще раз. И еще. И не сказал ни единого слова. Потом он переключился на тещу Марию Филимоновну.

Феодосия Бойко упивалась зрелищем. В эту минуту она была счастлива. Девица Маша стояла тут же. Кажется, ей было скучно. Тамара и Мария Филимоновна бежали к соседям. Феодосия ушла домой. Оставшись одни, Коля и Маша не стали зря терять времени, они принялись носить вещи на Партизанскую, 134.

И так далее.

Через две недели состоялся новый скандал. Коля ночевал в милиции. Но утром уже разгуливал по Зиме, куражился:

— Ничего мине не будет. Посадить меня невозможно.

У него, видите ли, дядя в Ангарске милиционер. И леспромхозовское начальство о нем хорошего мнения. Совсем парень неуязвим. Все ему можно.

Мамаша тоже отчаянная. Закуражившись, она сказала как-то Тамаре:

— Что ты думаешь, на тебе свет стоит? Женили и женить будем. Сороковую возьмем. Да не такую, как ты!

Сороковую, гражданка Бойко, не возьмете. Столько не полагается.

Но это еще цветочки. Бойко пошли дальше пошлостей и оскорблений. Хамство анек-

дотическое переросло в хамство разнузданное и воинствующее.

— Не от бога пол моешь! — кричала свекровь невестке. Тамара была комсомолкой, откуда ей было знать, что пол в этом доме моют от угла, где образа. За сим последовало приглашение в церковь. Тамара отказалась.

Как-то она заговорила о том, что ей надо заплатить комсомольские взносы.

— Какие еще взносы? Ты уже не девчонка! Выбрось это дело из головы.

А Коля? А Коля оставался достойным сыном своей родительницы.

— Я не комсомолец, и тебе ни к чему, — сказал он, выхватил у Тамары из рук комсомольский билет, порвал его и сжег. Сжег в печке. Вот как поступил Коля, достойный сын своей родительницы.

— Попробуй заикнись кому-нибудь о билете, — сказал он после. — Удавлю!

Коля любит энергичное это словцо. «Расскажешь — удавлю», «Не будешь со мной жить — удавлю».

Остановить надо хама. Займитесь этим, товарищи зиминцы. Займитесь, пока он не женился еще раз.

Бойтесь хамства! Хамы не перевелись. Хамы притаились. Они поняли, как опасно хамить в обществе, и расползлись по собачьим своим конурам. Они стали застенчивыми производственниками. Простыми скромными тружениками.

И остались хамами. Оглядевшись по сторонам — нет ли свидетелей, они наговорят вам мерзостей, забрызгают своей ядовитой слюной. Закрывшись на ключ, они изобьют

детей, жену, оскорбят собственную мать. От нечего делать они настрочат на вас грязное анонимное письмо. Потому что они хоть и лихие люди, но предпочитают хамить безнаказанно.

Хамы расползаются по своим собачьим конурам. Но бойтесь их и там. Они издеваются над вашими знакомыми. Выявляйте хамов, тащите их на свет божий, не спускайте с них строгих ваших глаз.

Судите хамов! Не спускайте им ни одного мата, ни одного разбитого стекла.

И берегите от них детей. Ваши дети должны быть прекрасными людьми.

22 ноября 1962 г.

На финишной прямой

У Нины Тарасенко, штукатура из бригады Василия Даниловича Мандрицкого, субботний день был расписан давно. Прежде всего — на субботу была намечена свадьба Люды Рукосуевой. Подруги все из одной комнаты, шесть человек, ждали этого дня, пожалуй, с тем же нетерпением, что и Люда. Затевались подарки, сочинялись тос :, планировалось шампанское и танцы. Сразу после работы намечалось торжественное посещение загса.

Ничего из этого не получилось. Утром Мандрицкий объявил, что бригада останется работать во вторую смену. Нина и шесть подруг Люды Рукосуевой выслушали бригадира спокойно, без удивления и досады. И вот десятый час они белят и белят стены цехов новой установки, десятый час они выкладывают плитками пол горячей насосной, носят раствор. Люда сейчас в загсе. Свадьба не отменяется, потому что Люду отпустили с работы только для того, чтобы свадьба состоялась. Потому что жениха, демобилизованного солдата, освободили от работы лишь на день. Потому что завтра, в воскресенье, бригада снова выйдет в свой цех. Потому что Люда, Нина и шесть подруг понимают, какое время сейчас на Ангарском нефтеперерабатывающем заводе.

А время таково: к Пленуму ЦК КПСС завод должен провести пусконаладочные работы на новой установке, которая увеличит производительность НПЗ почти вдвое. К Пленуму ЦК КПСС завод должен ввести в строй весь сложный комплекс оборудования, обеспечивающий работу новой установки.

Потому на пятки строителям-отделочникам, электрикам, киповцам наступают сейчас эксплуатационники.

В горячей и холодной насосных, в этих двух огромных цехах, заканчиваются отделочные работы. Здесь красят, белят, выделывают полы кафелем бригады Мандрицкого и Сударкина. Под потолком, в серых спецовках, измазанных известкой, — похожие на стрижей, орудуют кистями девчонки, подруги-комсомолки Нины Тарасенко, вчерашние фэзэошницы. Их здесь двадцать пять человек, была своя бригада, но сейчас, в это штурмовое время, их объединили со старшими, девчонки работают теперь в двух бригадах.

Бригадами руководит прораб Павлючков Иван Тимофеевич, коренной ангарчанин, человек опытный и серьезный. По новому цеху он ходит по-хозяйски, говорит медленно, веско, как бы подбрасывая слова в воздух и сжимая их потом в своих каменных ладонях.

— Что строим... Здесь, к примеру, пройдет человек несколько раз в день. А цех будет работать...

Эксплуатационники заняты ревизией арматуры, теплообменников, ревизией насосов и их обкаткой. Испытанием трубопроводов. Недавно сформированы бригады. Их пять, все молодежные.

Павел Клинов, бригадир, еще молод, ему тридцать с лишним лет, а про него здесь говорят: «Сам Клинов в годах, а бригада — молодежь». Восемь парней из бригады Клинова действительно почти мальчишки. Вот они — Душейко, Прокопьев и остальные вскрывают насос, осматривают его, убирают ржавчину, регулируют. Для комсомольца Виктора Душейко эта работа привычная. По специальности он слесарь, недавно демобилизовался, в конце месяца он ждет пополнения из Грузии, где служил. «Европа плюс Сибирь», — так он пишет однополчанам об Ангарске.

К новой установке подступают уже операторы. Они, лучшие из них, приходят с действующих установок НПЗ. И это тоже молодежь. Михаил Лимонов, Гакиль Алтынбаев, Юрий Хомкалов, Евгений Кулев.

В щелочном отделении новой установки кавардак. Здесь сошлись монтажники и операторы, киповцы и электрики. Все они посредством громких разговоров вступают в сложные производственные конфликты. Они спорят, ругаются, просят, убеждают, приказывают и отчаиваются. Цель у всех одна — вовремя сдать установку.

Главный инженер второго участка СМУ-3 Петр Алексеевич Лесовой «сцепился» с мастером электриков Василием Петровичем Шишневым. Кое-как поладили. Лесовой говорит:

— Ругаемся, каждый — свое, а дело идет, и дело общее. То, что вы видите сейчас в этих цехах, — это итог. Это результат трехлетней работы. В декабре будут ее плоды.

В конторе завода ажиотаж. Когда идет на-

ступление, штаб лихорадит. Здоровой творческой лихорадкой. В работе, в движении — всё. Мы мало надеялись на то, что на НПЗ можно встретить человека с такой профессией — архивариус. С архивариусом, комсомолкой Светланой Стрельченковой, трудно было поговорить. Заводской архивариус рвет и мечет. Посетитель за посетителем. Инженер за инженером. Чертежи, схемы, документация. Точность, четкость, темп.

В кабинете директора завода журналисту трудно пробыть более десяти минут. Более десяти минут журналисту быть в кабинете директора просто неудобно. Дела, дела. Посетители, посетители. У Александра Иосифовича Левина, директора, мы буквально вырвали несколько слов.

— В конце декабря, — сказал директор,— мы получим продукцию новой установки. Между окончанием строительных и монтажных работ и получением продукции полагается интервал в два летних месяца. Мы пустим установку зимой, через полмесяца после ухода с нее строителей.

НПЗ взял хороший темп. Все, с кем встречались мы на заводе, производят впечатление бегунов, вышедших на финишную прямую. Прораб Павлючков, инженер Лесовой, бригадир Клинов, директор, бригадиры, девчонки-отделочницы, электрики, слесари — все устремлены сейчас к долгожданной ленточке. И финиш все ближе и ближе.

В этом темпе весь завод. В этом темпе Нина Тарасенко, девочка из таежного села Каменка, и шесть подруг, не пришедших на свадьбу Люды Рукосуевой.

В этот темп включится каждый, кто перешагнет заводские ворота.

Нина рассказала нам, что у тракториста Тарасенко пять дочерей. Одна из них, Лена, уже приезжала к Нине в гости. Со старшей сестрой (старшей сестре семнадцать лет) Лена была на НПЗ. Ей здесь понравилось.

20 ноября 1963 г.

В Тальянах, на пороге Саян

1. Дождь

День был солнечный, воздух был неподвижен, березы, что стоят здесь по огородам, сникли, ветви их повисли безжизненно, листья свернулись. Потускнела трава, проходящие машины поднимали густую многодневную пыль, во всех домах распахнутые двери чернели и походили на тяжкодышащие пасти.

Все изменилось после обеда, вдруг за какую-нибудь четверть часа. Набежал ветер — и это удивительно, откуда ему здесь набежать: Тальяны плотно, как огромной стеной, обнесены сопками — тучи пришли незаметно и как бы со всех сторон разом. Пошел дождь.

Вид таежного села суров, в дождь — в особенности. Сопки серые, угрюмые, и небо серое, среди больших берез дома неприметны, а дождь льет и льет, кажется, он может наполнить падь, в которой стоит село. Песчаная дорога светлеет под соснами, поднимается и исчезает между сопками. Дорога представляется единственной надеждой...

Тальяны — ворота Саян, дальше сел нет, и только километрах в двадцати — двадцати пяти — участки лесопункта, а уж за ними — глушь, непроходимость, истоки рек и снежные вершины. Село подлинно таежное: здесь и дикие сопки, и стремительная горная речка, и малина прямо у дороги, и, куда ни глянь,—

лес, лес и лес. Принято считать, что Ангарск, от которого Тальяны в семидесяти километрах, выстроен в тайге: «город юности в глухой сибирской тайге». Преувеличено ровно на семьдесят километров. Ангарск выстроен в сосновом лесу близ села Китой, прямо на великой железнодорожной магистрали. Это место давным-давно не тайга и не глухомань.

Тайга — Тальяны. Село, впрочем, не маленькое: около тысячи населения, добротные просторные дома, богатые огороды, три магазина, средняя школа, больница, клуб, столовая, ясли. Над каждой крышей — антенна: приемник или телевизор. Приемники в тайге, как известно, работают прекрасно, по телевизору не всегда хорошо, но кое-что, говорят, видно.

Дождь все шел, в шесть часов пришли машины с участков, улицы ожили, открылась столовая. В селе — один из трех лесопунктов Широкопадского леспромхоза. Его контора тут же, в Тальянах. Хозяйство это большое, крепкое. Работает здесь шестьсот человек, в хозяйстве — пятьдесят тракторов, шестьдесят четыре машины, леспромхоз — участник Всесоюзной выставки этого года, семимесячный план по заготовке и вывозке леса перевыполнен. Нынче из здешней тайги вывезено уже свыше двухсот пятидесяти тысяч кубометров леса.

В тот вечер в селе погас свет, и в клубе не состоялся киносеанс. Тут же в помещении клуба, в комнатке, отведенной для суровых милицейских нужд, сержант Николаенко не успел дорисовать злую сатиру на прогульщика и выпивоху Котова. Сержант изображал

его на обратной стороне плаката «Берегите лес», разукрашивал и в профиль, и в анфас. На одной картинке Котов терял равновесие, шел по улице, из его карманов, как водится на подобных рисунках, торчали бутылки и рыбий хвост. На другой — тот же Котов был представлен наутро нетрудоспособным — в тяжком похмелье. Прогулы и злостное пьянство в леспромхозе достаточно редки, проступок Котова — событие, потому так избичевал его Николаенко.

Сам Котов, шустрый парень, невысокий, с пухловатым небритым лицом, в это время имел беседу в общежитии с ребятами. Нелегкая работа в лесу требует исключительного товарищества, прогульщики, люди малодушные и расслабленные, лесорубам в напарники не годятся. Котов отшучивался, ухмылялся, но переживал, а завтра предстояло ему еще испытать шипы и тернии стенной сатиры.

Работа в самом деле нелегкая, а порою и рисковая. И не у одних вальщиков. Трактористы, эти капитаны лесозаготовки, все, как один, здоровые парни, атлеты с превосходными нервами. Лес в здешних местах берут с сопок, со склонов в тридцать и более градусов. Умения управлять трактором здесь недостаточно. Таскать на С-80 лес по таким крутякам не просто, нужны и мастерство, и железная рука, и незаурядное хладнокровие. Трактористами становятся лишь со временем, побывши год-два помощниками, напрактиковавшись рядом с мастерами трелевки.

В общежитии, в одной комнате с набедокурившим Котовым живет Виктор Задруцкий, парень, который недавно отдал свою машину

другому трактористу, Мише Овсянкину, начинающему, но более способному, а сам ушел в помощники к гроссмейстеру трелевки Каминскасу. Задруцкий не вытягивал норму, а потому сам пришел к мастеру и попросился на время к Каминскасу. Некоторое время Задруцкому пришлось выслушивать довольно-таки чувствительные шуточки по утрам на раскомандировках, но не беда. Не получилось — стыдиться нечего. И насмешники знают, что стыдиться нечего. Знают, но шутят безжалостно. Потому что работа у них получается. Задруцкий парень добродушный, смешливый — переживет. Ходит спокойно в помощниках, ждет своего часа.

В общежитии недовольны: света нет, делать нечего — только спать. В общежитии, кстати, живет совсем небольшая часть рабочих. Большинство в Тальянах семейные, и очень много молодых семей. Самый популярный возраст среди мужчин, механизаторов в особенности, — двадцать пять — тридцать три года. Почти все они женаты, отслужили в армии, поработали в разных местах, попробовали одну-две профессии. Здесь они определились, причалили, устроились прочно, обстоятельно. Тальяны, тайгу, суровую работу они выбрали, облюбовали, и с места их могут сдвинуть разве что какие-нибудь неожиданности. Все семейные, с коровой, с огородом, заработки в леспромхозе неплохие, среднемесячный заработок тракториста, например, что-то около двухсот пятидесяти рублей. Жены здесь работают: бракерами, учетчицами, разнорабочими — в лесу; в магазинах, в больнице, в школе — в селе. Есть и домохозяйки.

Свое хозяйство занимает, разумеется, много времени. Чтобы заготовить сена для коровы, тракторист, вальщик, шофер после работы бегут в лес на два-три светлых часа косить, другие, если возможно, берут в это время отпуск. Сейчас вокруг села у дорог, у реки все обставлено копнами. Забот много. И вода, и дрова, и огород. И все время — дети. Хорошо — днем они в яслях. Одним словом, женатому человеку здесь не скучно. Он так хотел, он выбрал эту жизнь и место для этой жизни, ему хорошо, он не жалуется.

Скучают здесь больше в общежитии. Впадают в меланхолию, случается, попивают. Нет кино, нет музыки, нет писем, и льет, льет, как подрядившийся, нудный, предупреждающий об осени дождь.

2. Урочище Малый Братск

В Тальянском лесопункте два участка. Один, участок мастера Монахова, работает в Дернистой пади, другой — мастера Королева — в урочище Малый Братск. В Дернистой пади идет заготовка хлыстов, вывозить их будут зимой по снеговой дороге. В урочище Малый Братск идет раскряжевка, и готовый ассортимент везут с участка к селу, на берег реки Тойсук.

В восемь утра из села уходит машина с людьми. Вначале дорога идет вверх, по берегу реки, мимо складов свежего леса. Леса на берегу Тойсука сейчас немного — недавно прошел сплав, свежий лес пролежит здесь год — просохнет. Этот работяга Тойсук, таскающий на своей спине сотни тысяч кубо-

метров леса, совсем невелик — семь—десять метров шириной. Дорога уходит от реки в новую падь, от болота жмется к сопке, взбирается на нее каменистой террасой, ползет по вершине, огибает гору — и снова падь, но уже выше предыдущей. В конце пути, километрах в двадцати пяти от Тальян, урочище Малый Братск.

Огромная сопка разрезана дорогой на две части. Верхняя, откуда берут лес, почти уже оголена, у самой вершины остался небольшой сосновый островок. Три трактора когошатся на километровом склоне, подбирают поваленные деревья, волокут их к дороге, где идет раскряжевка. У деревьев обрубают сучья, распиливают их, бракер пишет свои цифры, и готовые бревна — ассортимент — складывают в штабель над дорогой. Из штабеля краном— на МАЗы и — лес Родине!

Вставка о вальщике Наумове

Наверху, у вершины сопки, работает вальщик Наумов. Визг пилы, скрип, треск сучьев и глухой удар ствола о землю — от дерева к дереву. Сегодня ветер, и то и дело находит дождь. Деревья раскачиваются, глинистая почва мокра и ползет под ногами. Осторожней, вальщик!

Кроной сосна устремлена к солнцу, в гору, с этой стороны Наумов делает надрез, потом с другой — точно до того мига, когда дерево вздрогнет! Упусти момент, не выдерни пилу— сосна может ее зажать, не скоро разделаешься.

От дерева к дереву. Сосна... сосна... листвень. В листвень пила идет туго, тут как бы не заело — смотреть и смотреть. Сосна... сосна... кедр.

Кедр. Извини, голубчик, все равно один на ветрах, на солнце не устоишь. Хорош! Густой, дородный — мягко упал. Сосна... сосна... сушина... Ра-аз!.. Повисла на соснах!

Наумов останавливается. Хорошо недалеко трактор.

— Э-эй! Па-ашка! Давай сюда!..

Тракторист услышал, повернул к Наумову.

— Хлыст стяни!..

Трактор припятился, тракторист, высунувшись:

— Они что у тебя, вроде как бурундуки,— по деревьям.

— Ладно, ладно!.. Давай!

Из кабины выскочил помощник, накинул на сушину трос, затянул. Поехали. Сушина рухнула.

— Порядок!

Сосна... сосна... листвень... Стволов двести в день, две нормы, больше...

Перекур. Наумов из-под куста извлек десятилитровую зеленую канистру, заправил «Дружбу» и присел на минутку на рыжем сосновом стволе.

Вальщиком, считай, семь лет без года. Год затратил на городскую жизнь. Ничего, понравилось. Из Тальян подался в Калинин, к жениным родичам. Хороший город, рядом Москва. Два часа — и пожалуйста: выставка, Оружейная палата, ЦУМ, ГУМ, новый универмаг заделали. Поступил в Калинине на трикотажную фабрику. Хорошая фабрика. Три

ткацких станка, ходил себе между ними. Ничего, интересно.

С работы — домой. С молодой женой, она на телеграфе работала, собрались на рынок.

Ничего рынок, хороший рынок. Ходим себе, покупаем картошку, помидоры покупаем. Домой вернулись, посмотрели телевизор, с Иваном, с жениным отцом, порассуждали. Завтра — на фабрику, к своим станкам. Гоним холст, все в порядке.

Как-то в воскресенье зашли с Иваном в парк культуры и отдыха. Приличный парк. Бродили, бродили, гляжу — люди забавляются. Столб метров шесть, столб с делениями. Наверху — заяц. Бьют кувалдой, вроде бы по наковальне, вверх по делениям, лиса — раз! Раз! Но, вижу, до зайца не дотягивают. У кого рядом, у кого только наполовину столба. Интересная шутка.

Иван, говорю, дай попробую. Плачу десять копеек и подхожу. Подхожу, но не надеюсь. Ребята стоят здоровые, наверняка боксеры. Беру кувалду, бью — лиса к зайцу. Отдаю кувалду, пошли, говорю, Иван. Хотели уйти. Нет, постой, говорят. Давай еще раз. Зачем, спрашиваю. Еще раз, говорят, может быть, у тебя случайно вышло. Народу прибавилось, гляжу, уже спорят — выбью или не выбью. Ну, ладно, думаю, может быть, и не выбью. Плачу десять копеек, бью еще раз — то же самое. Все в порядке, пойдем, говорю, Иван. Нет, они говорят, постой, давай еще. Народ подходит вроде на концерт. Шумят и кипятятся. А мне что-то скучно стало. Вот в первый раз тогда скучно и стало. Вообще интересная игра, а тут что-то я затосковал. А они:

давай и давай. Один подходит ко мне и шепотком: ударь, говорит, парень, потише — заработаем. Ну, ударил я еще раз. Ударил — тот же результат, только заяц на этот случай совсем выскочил...

Потом неделя, вторая. Прихожу раз с работы, жена за хобот — пошли на рынок. А я ей говорю. Я, говорю, туда не хочу. Я, говорю, в огород хочу. Я в огороде, говорю, люблю копаться, нехороший я человек. Ну и пошла. Заскучал я по тайге, захандрил. Через месяц жену, конечно, уговорил, ну, и вернулись. Она в Тальянах продавцом работает. Ничего живем. Сынишка есть. Юркий. Хороший парень...

Наумов поднялся, как бы вдруг стряхнув с себя все воспоминания и разговоры, и показал рукой в сторону противоположной сопки.

— Скоро опять польет. Видно, сегодня не успею.

Там, напротив, рваные серые тучки, в самом деле, густели и предвещали крепкий дождь. А над головой небо было с надеждами — кое-где проглядывала синева, и тучки, которые натыкались на гору, легкими привидениями бродили между сосен, оставшихся на вершине. Туда со своей «Дружбой» полез Наумов.

Урочище Малый Братск

Обед. В будке-столовой, что стоит на дороге, шумно. Вмещается здесь враз не больше восьми человек. Зашла первая очередь,

пообедали, допивают компот. Повар, добрая женщина в белом халате, торопит. На железной печке шипят кедровые шишки, пахнет смолой, пахнет супом, за окошком дождь снова полил сильно, так сразу и уходить не хочется, в особенности любителям поговорить. Разговоры главным образом юмористические, об охоте, о чрезвычайных происшествиях, друг над другом подшучивают.

Саша Кострицын с раскряжевки, «шкодной» парень, жирному Наумову:

— Слушай, это ты от «Дружбы» карданный вал потерял?

Оба смеются. Видно, что эта шутка повторяется не в первый раз. Вообще-то любая шутка здесь сходит, к шутникам нетребовательны, все всегда и великодушно откликаются на их слова и проделки. Прощается даже однообразие. Тальяны называют Италией, а реку Китой — Китай. Эти невинные каламбуры повторяются здесь повсеместно, тем не менее всякий раз их кто-нибудь да оценит. Кострицына считают шутником и балагуром, и потому он чувствует на себе некоторую обязанность развлекать. Вчера он видел, как лиса гналась за зайцем.

— Под гору ему трудно, под гору он упирается, вот-вот она его захомутает. Выскочил на дорогу, а дальше — в гору, ему проще. Как он махнет! Лиса села на дороге и заплакала.

Дальше следуют небылицы и анекдоты.

— Охотник идет по тайге, из-за кустов — медведь. Охотник трухнул, ружье за спину и говорит медведю. Слушай, говорит, ты уток здесь не видел?

Другой балагур, постарше, механик участка Андрей Амосов. Его монологи — серьезного, нравоучительного толка. Вот, например, об охоте, о загонах на коз.

— Я бы был противник всяких загонов, собираются всей деревней и нахально гонят ее на стрелков. Куда же ей деваться? Один, конечно, промажет, другой, конечно, все равно попадет. Варварство и наглость.

В столовую вошел Дмитрий Королев, мастер, бывший тракторист, вальщик, слесарь, коренной тальянский житель. Королев невысокий, плотный, очень спокойный, начисто лишенный всякой суетливости человек. В выражении его лица, в голосе, в его командах столько непридуманной уверенности, что никому не приходит в голову сомневаться в его словах. Потому что всякую работу, которую он задает другим, он умеет сделать сам.

Королев постоял у печки с минуту, очевидно, из вежливости, послушал балагуров, а уж только потом сказал:

— Пошли, ребята.

3. Нижний склад

От урочища груженый МАЗ спускается вниз, к Тойсуку, на Нижний склад. Водитель молод, усат и задумчив, на сиденье лежит «Утоление жажды» Трифонова. Об этой, прочитанной им в свободные минуты книге шофер большого мнения. В свои двадцать пять лет шофер объездил всю страну. Много видел, но видеть ему мало — хочется много понять. Хорошая непрочитанная книга — это край, где ты не бывал. Шофер Вадим Старо-

думов открыл для себя мир мыслей — мир, в котором, не переставая удивляться, он пропутешествует всю жизнь.

Дорога вниз, вниз. Слева, на недоступном крутяке, ровнехонькие сосны-ровесницы. Справа, в пади, тяжелые лиственницы, необыкновенно стройные светлоствольные осины, буйная трава, багровые гроздья волчьих ягод. На днях на этом спуске было происшествие. Из урочища возвращалась машина с людьми, вел ее многоопытный шофер Узулин. Здесь вот, за два километра до конца спуска, у машины отказали тормоза. Слева сосны, справа — обрыв, выхода не было, на большой скорости шофер преодолел несколько поворотов и посадил машину в болото, на финише спуска. Люди ничего до самого болота так и не заметили. Все обошлось, а что с ними могло быть, они прочли на лице шофера, когда тот вышел из кабины. Говорят, он был бледен, как стена. Большинство, бывших в той машине, об этом рассказывает почему-то весело. Потому, видимо, что повезло.

В долине Тойсука по дороге начинают попадаться грибники-ягодники, полупьяная публика с ведрами и горобовиками. С утренним автобусом они приезжают из Ангарска, разбредаются в окрестностях Тальян, собирают чернику, голубицу, малину, грибы. Обычно, это компании в два-три человека. Наполнив свои торбы ягодами, они непременно выпьют водки, попоют, а то и подерутся, — одним словом, всячески «культурно отдохнут» и уедут домой вечерним автобусом.

В прошлое воскресенье моторизованные ягодники добрались до урочища Малый

Братск. В тайге не бывает сторожей. Воспользовавшись этим, ягодники украли у лесорубов крупу, хлеб, бензин, за что справедливо и точно были названы шакалами.

А вот и Тойсук, маленький работяга. МАЗ пришел на Нижний склад. Лес сгружают трелевочным трактором. Зацепив всю пачку, кубометров семнадцать, гусеничный трактор становится на дыбки, и так, будто на задних лапах, он пятится к штабелю.

На Нижнем складе идет купля-продажа. Продает Подоров, мастер лесопункта. Покупает старший бракер китойской лесоперевалочной базы Валя Андреева. С Валей две помощницы.

Сорокалетний Подоров выглядит много моложе своих лет, он сух, энергичен и, как мальчик, вспыльчив. По штабелю с топором лазает Борис Еремин, сучкоруб. Его обязательство подровнять бревна, удалить сучки, пропущенные на раскряжевке.

Валя Андреева, худенькая, остроносая, все время будто рассерженная, идет с одной стороны штабеля. Она стучит по бревну молотком и выкрикивает:

— Восемнадцать — пятерка... четырнадцать — шестерка... тридцать — елка...

Определяется сортность каждого бревна. С другой стороны штабеля идет Валина помощница и быстро записывает. Ударом молотка Валя оставляет на бревне клеймо «КТ-2», что значит: китойский, тойсукский — второй (участок). От этого же удара бревно вздрагивает, и помощница видит, какое именно «тридцать — елка»... После удара Валя мгновенно пишет карандашом: «П-III»,

«П-I», «К»: пиловочник — третий сорт, крепежник и т. д.

Вслед за ними — еще одна помощница. В руках у нее ящик с трафаретами, на бревне остаются жирные дегтярные знаки «П-III», «К»...

Подоров идет вдоль штабеля рядом с Валей, слушает ее оценки, на лице у него явное выражение придраться, опротестовать. Но придраться не к чему. Валя работает бракером четыре года и не так уж часто ошибается.

— Двадцать три — пятерка... Дальше... Сушник и большой козырек — на дрова!

Подоров перебивает, впрочем, опрометчиво:

— Э-э! Постой, постой!

Валя обернулась к нему.

— Ну, брак.

Подоров взвинчивается:

— Э-э-э!

Валя улыбается. Как только выражение средоточия и рассерженности сходит с ее лица, лицо становится красивым.

— Ну, на дрова.

И Подоров вдруг успокоился. На дрова все-таки лучше, чем брак.

Перешли к следующему штабелю. Валя:

— Подоров, я такой штабель не приму. Сбросали как попало. Вам лишь бы спихнуть!

Подоров видит, что она права, — штабель развален, но ворчит:

— Что это тебе, картина, что ли?

И дает команду трактористу — выровнять...

Борис Еремин инвалид, у него одна рука. Сучкоруб временно, сегодня он кого-то замещает. И не успевает, конечно. Валя тихо, чтобы не слышал Еремин, Подорову:

— Что ж, вы кого поставили? Сучки остаются. Давайте завтра другого.

Еремин не слышит, но догадывается, о чем речь. Безо всякой обиды добродушно он кричит со штабеля:

— Да я только сегодня! Завтра меня сюда калачом не заманишь!

Валя испуганно вскидывает голову, потом улыбается, рада, что не обидела.

Еремин говорит и смотрит с достоинством, как-то подчеркнуто независимо. Вечером он является в клуб в хорошем, по-городски тщательном костюме. Оказывается, он бывший товаровед, москвич. В Тальяны попал, правда, не сразу, зато из Тальян уезжать не собирается, в Москве бывает в отпуске, любит ее, конечно, и вспоминает часто.

Подоров и Валя снова заспорили — первым сортом пойдет бревно или вторым? Обошли штабель, изучили балки до последнего сучка, пометили вторым. Подоров снова не прав, и сам понял, что не прав, и снова ворчит.

— Вот будет зловредная теща! Вот сварливая!

Валя улыбается.

Тем временем разгрузился еще один МАЗ, пришел третий...

* * *

А вот и дорога из Тальян. Солнечно, в селе дома, крытые свежим тесом, блестят ослепительно. Мелькнул над мостом золотой —

серебряный ручей, пробежали огороды, и вот все позади.

Я везу с собой кедровую ветку с двумя шишками — подарок вальщика Наумова. Ветку в автобусе, в трамвае, в электричке — все время я держу в руке, чтобы не помялась, чтобы не отлетели шишки. В Ангарске, на городской улице, меня остановила женщина, она попросила:

— Покажите, пожалуйста, никогда не видела... Подождите, пожалуйста, минутку.

Она куда-то сбегала и через минуту привела мальчишку лет семи, сына.

— Смотри, Юра, так растут кедровые шишки...

И потом, по дороге, многие еще, и дети, и взрослые, разглядывали зеленую смолистую ветку и расспрашивали, откуда я ее везу.

И вот я написал эти заметки, в них слишком коротко я рассказал о людях, с которыми встречался в эту слишком кратковременную поездку, напомнил о тайге, которой не успел налюбоваться. О тайге, которая кормит, воспитывает и, как мне показалось, делает счастливым человека.

15, 18, 22 августа 1964 г.

Витимский эпизод

Катер «Брест», вышедший из Бодайбо в четыре часа дня, прошел вверх по Витиму не более шестидесяти километров, когда наступила ночь. Катер направлялся за лесом, на Мую, к дальнему притоку Витима, команда торопилась, как торопятся здесь — пока навигация — все, кроме того убывала вода и на Муе обсыхал лес. Поэтому «Брест» не останавливаясь шел ночью в темноте и утром в густом тумане речники вели его на ощупь, ориентируясь по едва видимой стене прибрежных деревень, по памяти обходя мели. Когда встало солнце и туман от реки стал подниматься вверх, к гольцам, на левом берегу показалось село, оно мостилось на маленькой терраске между Витимом и лысой каменистой горой. Лиственницы под окнами, огороды, лодки на берегу, телеграфные столбы, несколько бараков на окраине — село как село, а под ним белое облако тумана. Я уже знаю, что здесь лесоучасток Бодайбинского леспромхоза и в селе живут в основном лесозаготовители и геологи. Есть сельсовет, школа, больница, клуб. Знаю уже, что клуб тут неважный, школа тесноватая, столовой вовсе нет и на семьсот человек жителей — ни одного уполномоченного милиции, это я тоже знаю. Мне уже известны все не веселые и все

мрачные происшествия, бывшие здесь за последние три года, заочно я знаком со всем местным начальством. Мало этого, я знаю, что вчера главный инженер Бодайбинского леспромхоза Тышкевский привез сюда письмо о неблаговидном поведении рабочего леспромхоза Гришкина и что разбирательство по этому поводу состоится сегодня.

В большом городе обыкновенно люди из одного дома, но из разных подъездов, проведут всю жизнь так и не познакомившись. Здесь иначе. Если где-нибудь на Мамакане некто Василий К. женится на Марии Н., на свадьбе непременно будут присутствовать кумовья и сваты из Синюги, Муи, Бодайбо — отовсюду, а само событие будет обсуждаться по всему Витиму, на полтыщи верст. Здесь все знают всех. Знакомства здесь равносильны родственным узам. Людей на Витиме объединяет малочисленность, отдаленность, как ни странно, деревень друг от друга. И, конечно, сам Витим объединяет. И не только как средство сообщения. Витим дает людям общие дела, общие заботы, общие интересы. Витим — как гигантская деревенская улица. Вот почему о жизни села Нерпо я знал достаточно уже к тому времени, когда наш катер громыхнул на прибрежных камнях против конторы леспромхоза.

Все село нетрудно обойти за двадцать минут, оно состоит из одной улицы, не считая нескольких домов, построенных выше по речке Нерпинке. Днем лесозаготовители в тайге, геологи в тайге и те, у кого свободное время, тоже в тайге. Все мужское население — рыбаки и охотники, благо есть где порыбачить

и поохотиться. Водятся здесь и медведи, и стерлядь, и сорокакилограммовые таймени. В лесопункте производственные дела на уровне, в эти дела я не вникал, потому что еще раньше, с самого первого знакомства с Нерпо больший интерес у меня определился к тому, что принято называть бытовой стороной жизни, бытом.

А поскольку историю я расскажу неприятную, то заранее хочу оговориться. Рассказывая эту историю, я ни в коем случае не исключаю тем самым все бывшие здесь приятные истории. Оговариваюсь, потому что знаю, что впоследствии могут найтись те, кто скажет — вот, дескать, корреспондент увидел одни только недостатки, прошел мимо успехов и достижений, сгустил краски, обобщил, очернил и т. д. Рассказывая об одном из двух, о дурном или о хорошем, автор преследует необходимую для пишущего человека цель — сосредоточиться. Кроме того, пытаясь сказать обо всем сразу, автор подверг бы себя риску не сказать ничего. И, что самое важное, обращая внимание на дурное, автор надеется, что его труд не пропадет даром и хотя бы в небольшой мере будет способствовать изменениям к лучшему.

Разговор с рабочим Гришкиным был назначен на вечер, на тот час, когда Гришкин вернется с работы. Днем для беседы решили пригласить жену Гришкина Валентину, работницу детского сада. Дело в том, что родственники Валентины, которые живут в Амурской области, написали в Иркутск письмо. Родственники просили защитить Валентину и ее детей от побоев и унижений, помочь ей

вместе с детьми уехать от собственного мужа. К их письму прилагалось письмо самой Валентины и ее брата, который сам побывал в Нерпо. Вот три строки из письма Валентины. Начало: «Обращается к вам с далеким скучным приветом сестра ваша Валентина...» Середина письма: «Здесь мне жаловаться некому — тайга матушка. Мер никаких не принимают...» И конец: «Если что случится, прошу вас, не забудьте моих детей...» Из Иркутска эти письма попали в Бодайбинский горком партии, а из горкома инженеру Тышкевскому, который направлялся мимо Нерпо в Мую по делам, а по дороге должен был завернуть в Нерпо, на месте заняться этой историей с письмами и после, видимо, ответить Иркутску, что и как.

И вот уже Тышкевский, начальник лесопункта Скворцов и секретарь нерпинской парторганизации Ревва Иван Владимирович ждут жену Гришкина в конторе лесопункта.

Ожидающие — люди деловые, видно, что к предстоящему разговору они относятся скептически, с высоты своих производственных задач. Инженер явно раздосадован тем, что его отвлекли от дела. Заметно, что подобные мероприятия здесь вновь, что — вот собрались, ничего не поделаешь — надо, приходится, хотя дело это пустое, бабье, ничего тут не изменишь, разве что еще хуже наделаешь.

Гришкина, женщина лет тридцати пяти, изможденная, бойкая и настороженная, подтвердила, что да, бьет, и детей бьет «как взрослых», но когда пообещали организовать немедленный вместе с детьми отъезд, замялась, затревожилась, а через минуту объя-

вила, что сейчас она не поедет, вот, может, осенью, в ноябре, другое дело, а сейчас — нет.

Тут присутствующие переглянулись, а кое-кто и вздохнул с облегчением. Ну вот, дескать, пожалуйста, извольте видеть, всегда так, когда приходится вмешиваться в эту самую личную жизнь. Никогда еще из этого не выходило ничего хорошего, муж и жена — одна сатана, а сунься, ты же и окажешься в дураках. Сами видите, предлагаем ей помощь, — она отказывается. Значит, ей и так неплохо...

Впрочем, последняя реплика придумана автором. В ту минуту если кто-нибудь про себя и подумал, то никак не собрался бы сказать, что Гришкиной и так неплохо. В отличие от присутствующих, Гришкин готовился к этой беседе очень основательно, потому что под глазом у его жены был большой свежий синяк. Этим-то, выходит, отсутствующий в разговоре Гришкин, и вставил свое веское слово. Если бы не синяк, то, пожалуй, разбирательство окончилось бы очень скоро и вовсе безболезненно. Но синяк — явление фактическое, оно внушает к делу некоторое даже уважение и требует кое-каких углублений.

— Сколько раз, Валентина, — говорил Ревва укоризненно, — сколь раз говорил и тебе: бьет — сходи в больницу, возьми справку, подай на него заявление...

И по лицу, и по поведению женщины, и по ее словам видно, что жаловаться, подавать заявления она, что называется, не приучена.

Далее было так. Инженер несколько раз

возобновлял разговор о немедленном ее отъезде, Ревва настаивал на излюбленном заявлении, на заявление же нажимал Скворцов, словом, мужчины требовали определенности. Но вот беда: определенности у Гришкиной, которая прожила со своим мужем одиннадцать лет здесь, в Нерпо, определенности-то у этой Гришкиной как раз и не оказалось...

Остановились на том, что она в настоящее время решительно, категорически отказывается уезжать, пообещали поговорить с мужем как следует и с женой расстались.

Тут для большей ясности и поскольку все равно встреча с Гришкиным состоялась не сразу, я приведу маленькую справку. В Нерпо, в этом небольшом сравнительно селе, в текущем году произошло три насильственных смерти. Одна по неосторожности: с похмелья была выпита зеленка вместо водки. И два убийства. Одно из них таково: муж убил жену. Убил, как выразилась одна из жительниц Нерпо, за нетактичное поведение.

Разумеется, нет прямой связи между совершившимися убийствами и неоконченным разбирательством с четой Гришкиных. За убийства ответят те, кто убил. А те, кто не убивал, отвечать не будут. Но и нельзя, пожалуй, без внимания оставить такое простенькое рассуждение: убийцы не прилетают к нам с Марса. До того, как убить, они живут среди нас и, стало быть, среди нас становятся убийцами...

Но вернемся к Гришкину. В контору он пришел очень недовольный, раздраженный такой, а точнее сказать, явился он совсем сердитый. Что это, в самом деле? Преступлений

не совершал, заявлений не поступало, чего же вы, дескать, хотите? Делать вам нечего, собрались тут, а еще начальство, солидные люди.

И точно, когда он явился, собравшиеся почувствовали себя как бы несколько виноватыми.

Зачитали письма, справедливость которых он немедленно отверг, попытались пристыдить, делали это, надо сказать, неуверенно и неумело.

Наконец кто-то из них расхрабрился.

— Бьешь жену?

Гришкин высокомерно молчал.

— Бьешь. Синяк у нее под глазом, сами видели.

— Все бывает, — уверенно сказал Гришкин, — и хорошее бывает, и плохое.

И все замолчали. Мне показалось, что эта фраза Гришкина, которую он, кстати, произносил потом много раз, сильно на них подействовала. А ведь действительно, подумали, повидимому, они, все бывает. И хорошее, и плохое. Сами подумайте, чего не бывает между своими-то людьми. Вы приехали, побыли здесь день-два и, глядишь, обратно, а мы с Гришкиным здесь останемся, нам с ним жить, да. А жизнь ведь она сложная штука, и тут уж не попишешь.

Словом, Гришкин знал, что им сказать.

А потом инженер стал просить Гришкина дать всем присутствующим слово, что он никогда больше не будет бить жену и детей. Гришкин поломался немного из приличия, но слово дал. Видно было, что это ничего ему не стоило.

— Не повторится, — сказал он запросто.

Тут догадались взять с него это обещание письменно. Он запротестовал, но когда Ревва изъявил желание помочь составить ему эту бумагу, Гришкин согласился.

— Так он, — тотчас сказал Ревва о Гришкине, — мужик толковый, начитанный, но вот как подопьет...

И Ревва махнул рукой, а Гришкин открыто так ухмыльнулся.

После его ухода Иван Владимирович сказал:

— Посадить мы его не можем, а так — что разговор. Откуда я знаю, что он ее бьет.

— Вы в этом еще сомневаетесь?

— Да нет, не сомневаюсь, но документально мы не знаем. Если бы она подала на него в суд, тогда — пожалуйста.

Из этих слов, как видите, ясно, что будь заявление, Иван Владимирович засадил бы Гришкина с тем же благодушием, с каким сейчас он Гришкина опекал.

На этом все закончилось. Наутро составили протокол собрания, а Гришкин написал смехотворное обещание впредь вести себя хорошо.

Назавтра, провожая меня и моего товарища, Иван Владимирович, подытожив дело Гришкина, так сказать, подвел черту:

— Все бывает. И хорошее бывает и плохое...

Произносил он это назидательно так, нараспев, сказывал, что называется.

— Все бывает, — повторил он, и я понял, что это не просто слова, это уже мудрость, философия, отношение к жизни, стиль.

Такова история. Не такая уж страшная, но не такая уж и невинная. И вряд ли она требует каких-либо категорических выводов. Я хотел бы, чтобы она послужила поводом для размышлений.

Нерпинскому же начальству, не удержусь, скажу. Да, жизнь сложна, Иван Владимирович, она сложна, и плохо, если отношение к ней слишком простое. Попустительское. Равнодушное. Казенное. Мы, Иван Владимирович, не дети, нам много лет, пора, пора нам различать, что такое хорошо и что такое плохо. А различивши, к тому, что плохо, относиться повнимательнее. Посерьезнее. Построже.

Усть-Илим



Пролог

Невидимым стал пар над наледями. Тонкий мыс, палатки, свежие срубы тонут, тонут в мутных весенних сумерках.

С буровым рабочим Толей Сизых я стою над Ангарой у столовой в Постоянном. Столовая — кухня и два стола, за одним из которых мы только что съели по куску жареной колбасы и выпили по кружке чаю. Постоянный — столовая, домишко на две семьи, пилорама и общежитие буровиков, развеселое общежитие с раскладушками от самого порога. В окнах его мягкий, как воспоминание о детстве, свет керосинки. Громко ахнула дверь, в сумерках к нам подошел топограф Федя Аскеров. После работы Федя успел скатать в Невон, в магазин. Он подошел к нам, капризный и мечтательный.

— Я шатун, — сказал Федя, — я пашу с утра до вечера... по тайге, в снегу вот по. это место. Я шатун.

— Пройди, — сказал Толя, — пройди.

— Ты бурундук, — сказал Федя, — ты ничего не понимаешь. Я хочу чаю.

Федя вошел в столовую, мы молчали, сосны обступили нас, немые, затаившиеся. Ночь прятала их в свой черный мешок. Мы вслушивались в сиротливую трескотню «пээски» в палаточном городке, за Тонким мысом. В мо-

гучей, непуганой ночи, в холодном сердце тайги, мы слушали это робкое и дерзкое соло, как обещание, как вступление, за которым, как огромный оркестр, грянет небывалая стройка.

Внизу белеет река. Укрощенная в Братске, но здесь свободная и разнузданная, как зверь, вырвавшийся из клетки и забывший о ней. Внизу Ангара — прошлое и будущее бесконечной тайги.

Ночью весной шестьдесят третьего года с Толей Сизых я стою над Ангарой у Толстого мыса, рядом с будущей плотиной. Мы думаем о будущем, мы думаем о прошлом. Если сравнить с будущим — прошлое этого края мгновенно, как вздох. Но история наша такова, что самая маленькая ее страница наполнена тревогой, потом и кровью.

Здесь было все. Колумбы, бандиты, богомольцы, авантюристы, мыслители и революционеры.

И вот сюда пришли строители.

* * *

Уже был создан план ГОЭЛРО, а купец Яков Андреевич Черных был еще жив. Был жив и богат, хотя скрывал то и другое. Последние годы бывший хозяин илимской тайги жил трусливо, но с надеждами. Он ждал своего часа, своего обновления, потому что он был невежда и оптимист. В Иркутске, куда он бежал в девятнадцатом году и где прятался в домишке на берегу Ангары в конце Ланинской улицы, он набил тайники белой мукой, сахаром и прочим, что запас на черный свой

день. Муки было семьдесят кулей. Купец не рассчитал. Он умер от разрыва сердца, не съевши и десятой доли запасов.

История илимского края — это история о том, как купец Черных обворовывал тайгу. А обворовывал он умело. Он был самоучка, самородок, все взял сам.

Яков Андреевич был небогатый мужичок из Игнатьева, но был он нагл и цепок. И в одну прекрасную ночь внизу на Ангаре в Кежме сгорела лавка купца, а товары из лавки исчезли. Через некоторое время в Нижне-Илимске объявился новый купец Яков Андреевич Черных. До и после этого Яков Андреевич для отвода глаз таскался по селу с ящичком, прикидывался крохобором, коробейником. Но недолго. Развернулся он быстро. В обороте у него было шестьдесят четыре миллиона рублей. Конторы он имел в Братске, в Киренске, в Тулуне, в Иркутске, сплавом торговал по Витиму и Ангаре, возил белку на Иртыш, на Ирбитскую ярмарку. Записался купцом второй гильдии, хотя был купцом самой что ни на есть первой.

Старухи в Нижне-Илимске помнят его отлично. С вида это был обыкновенный, классический купец: русая борода с проседью, черная поддевка, широкое лицо, бесстыжие глаза. Яков Андреевич всю жизнь был снедаем безграмотностью, страхами, суеверием. Как-то ему сказали, что он будет жив до тех пор, пока будет строить дом. Свой дом в Нижне-Илимске он перестраивал бесконечно, всю жизнь. Конечно же, Яков Андреевич был тщеславен, и знаменитая на всю тайгу скупость не помешала ему, когда ему пообещали ме-

даль, дать на строительство школы десять тысяч рублей.

В свои конторы, на заводы Черных норовил брать людей грамотных, не брезговал и политическими ссыльными.

Один из них, Максим Дмитриевич Дудченко, принятый на лосиновый завод, возглавил там революционную борьбу. В то время Яков Андреевич плохо спал и лихорадочно перестраивал свой дом. Но происшедшей в стране революции купец должного значения не придал.

На Ангаре появились колчаковцы. Разрозненные и потрепанные, их отряды метались из села в село. Они нервничали и расстреливали напропалую. Дудченко скрылся в тайге. В России участь контрреволюции уже была решена, а на Ангаре все еще бесчинствовал Яков Андреевич и прапорщик Рубцов порол в Невоне Антипиных и Анучиных.

В Нижне-Илимске Рубцов, поручик Вейс и бандит Абрам Перец выслеживали большевиков. Им повезло. Дудченко вышел из тайги. Он пришел ночью за хлебом, за одеждой, он хотел вымыться в бане. Выдали его купцы, приятели Якова Андреевича — Володин и Сизых. Каратели расстреляли Дудченко восемнадцатого мая в 1919.

Лиственницы, сорок лет назад посаженные в память о борце и герое, выросли, и если в классах Нижне-Илимской школы открыть окна, слышно, как шумят они ветру — зеленые знамена жизни и неистребимой весны.

Колчаковцы суетились и превращались в разбойников. Яков Андреевич, считающий себя основоположником рода купцов, ничего в

этом не понимал. Приход партизан внушил купцу Якову Андреевичу кое-что из элементарной политики. Он бежал, прихватив с собой, как в сказке, шкатулку с золотом.

Бежал навсегда из обворованной тайги.

* * *

В общежитии буровиков укладывались спать демобилизованные солдаты из организации КИП-1. Перед сном здесь говорили о новых бурах, о женщинах и будущих городах. Среди коек шарашился топограф Федя, трезвеющий и мрачный. Он называл себя шатуном, говорил о бесконечном, слепящем глаза белом снеге. Он говорил, что нигде на всей земле нет такого белого снега. Потом он уснул.

Белый снег! Мы взорвем твою дикую тишину грохотом наших заводов, ревом наших турбин, мы исполосуем твою бесконечность сотнями дорог. Смиренный и незаметный, ты будешь скрипеть под нашими ногами.

15 мая 1963 г.

Колумбы пришли по снегу

Это так и есть. Ровесники Иркутского моря собираются в школу. Старик Пурсей — навсегда в воде, в сегодняшних статьях о Братске читаем: «На том месте, где сейчас расположен поселок Постоянный», «Еще несколько лет назад здесь шумела непроходимая тайга»... Это так и есть.

Это так и будет. Участь Толстого мыса решена. Белый снег доживает здесь последнюю свою зиму, метели отплясывают здесь на своих последних праздниках, никогда уже не вернется ушедшая отсюда кабарга. Сдал свои ключи филин — бывший комендант Толстого мыса.

В начале декабря прошлого года на вершину диабазовой твердыни взошли люди. Они подняли флаг строительства третьей на Ангаре колоссальной Усть-Илимской ГЭС. Знаменосцы, колумбы Толстого мыса, первые бригадиры первых бригад строителей провели уже здесь почти всю зиму.

Сначала семеро из Братска, потом из Воробьева, Эдучанки, Коршунихи, потом — отовсюду. Надо было срочно строить жилье для себя и для тех, кто приезжает. А приехали они почти на голое место. Было только село Невон, перезаселенное топографами, буровиками и геодезистами, был Постоянный — три

домика на Тонком мысе. Трудная, баснословно временная дорога по Ангаре не позволила сразу же двинуть сюда технику и стройматериалы, колумбы превращались в робинзонов. Острый плотницкий, изначальный топор на время стал здесь главным и чуть ли не единственным орудием труда.

Бригадир плотников Павел Ступак, прибывший на Толстый мыс с десятью демобилизованными солдатами, рассказывает, как вывел свою бригаду на снег, как поделили они между собой три топора и принялись за первые палатки.

Была у них еще одна пила. Вручая ее, Ступак сказал:

— Володя, Миша и ты, Володя. Вот вам инструмент, вот — тайга. Приступим к мирному, сознательному труду...

В тот день солдаты умотались вконец. А ночевали в общежитии буровиков, где спали на полу, так, что если одному ночью надо было выйти, вставать приходилось всей бригаде.

И сейчас, когда строители ушли жить в собственный палаточный городок, нет во всей тайге дома гостеприимнее общежития буровиков на Тонком мысе. У печки — железной бочки, поставленной на ящик с песком, — днем и ночью греются мастера, шоферы, нормировщики, техники и выбредшие из тайги колумбы из колумбов — топографы.

Буровики, топографы и геодезисты объединены в комплексную исследовательскую партию (КИП-1). Они работают здесь давно и будут работать еще долго. Работы, которые выполняет КИП-1, имеют первостепенное значение. Створ будущей ГЭС определен, утвер-

жден, и теперь партия занята подготовкой технического проекта гидростанции. Идет уточнение инженерно-геологических условий для строительства.

Недавно наледи и повышение уровня Ангары согнали буровиков со льда, где они вели колонковое бурение. Они определяли глубины съемов в будущем котловане, уточняли физико-технические характеристики диабаза. На берегах буровики изучают основания плотины, ищут песок и диабазовые карьеры.

КИП-1 заканчивает изыскания под рабочие чертежи автодороги Братск — Усть-Илим, весной должна быть сдана документация по трассе ЛЭП-220 (из Братска).

В створе плотины, на островах, на улицах будущего города стучат буровые установки — идет разведка. Топографы режут тайгу острыми метровыми просеками. Следы их лыж в глубоком белом снегу станут скоро дорогами и трассами. Эти люди, живущие в зимовьях и бороздящие тайгу вдвоем и в одиночку, издалека представляются суровыми и многоопытными медвежатниками. А они молодые. А среди них — девушки. Рабочие — Николай Овсюков, Иван Мельник, Федя Аскеров, Михаил Пашаев. Техники — Валентин Марко, Галина Утина. Все молодые.

На Постоянном, в общежитии у железной печки, просмоленные ветераны тайги не спеша, как мокрые свои портянки, разматывают бесконечные рассказы о бесконечной тайге.

Рассказы их слушают вчерашние солдаты, теперь — буровые рабочие.

Строители, которые будут сейчас сюда приезжать, не будут ночевать на полу. Пала-

точный городок растет на глазах, построена столовая, строится баня, складские помещения. В палаточном городке есть уже магазин.

Участок СУДР-3 на Толстом мысе и в Невоне — это сто строителей. Есть среди них «старые волки», которые строили палатки в Братске, есть «волки» и молодые — демобилизованные солдаты, за несколько дней сделавшиеся плотниками из шоферов, бульдозеристов, крановщиков.

«Старые волки» в Братске жили в благоустроенных квартирах, получали твердые и хорошие оклады, и вот они начинают жить сначала. Таковы Георгий Притула, Максим Ушицкий, Александр Ведерников, Анатолий Субботин и много здесь их, «презревших грошевой уют».

В Братске в отделе кадров Усть-Илимской ГЭС женщин до некоторых пор на Толстый мыс решили не пускать «ка-те-го-ри-чес-ки».

История о том, как кладовщик ОРСа на Толстом мысе Аня Ступак приехала к мужу из Братска, могла бы быть лирическим повествованием о любви, но история эта могла бы быть и рассказом о дерзкой для женщины мужественности. Сначала муж, бригадир-плотник Павел Ступак, в письмах наказывал жене жить в Братске, ждать, когда построят жилой поселок. Но Аня собиралась в дорогу. Павел должен был пообещать ей, что она приедет, когда он построит времянку. Но Аня уже все обдумала. Соседи засуетились. Им захотелось с первого этажа на второй, с третьего этажа — пониже. Аня просто-напросто сдала ключ и ордер в ЖКО и улетела в Нижне-Илимск. Там в аэропорту дезертиры

из Невона объявили ее сумасшедшей. Она приехала февральским вечером. Бригадир только что отправил в Братск письмо, в котором сообщал жене, что начал времянку. Бригадир рубил дрова у палатки. Он удивился и открыл перед женой двери палатки, где жили пятнадцать солдат. Фанерой отгородили угол, в нем и поселилась семья Ступак. Сейчас они перешли в палатку для семейных, где «квартиры» отгорожены одна от другой прессованной бумагой.

Среди строителей много парней из Воробьева, Ершова, Каранчанки, Сизова, Невона — всех ангарских и илимских деревень. На стройке местных зовут «бурундуками». «Бурундуки» отличные плотники, в КИПе — они неутомимые топографы.

Строительных бригад на Толстом мысе пять: Павла Ступака, Михаила Дедова, Георгия Притулы, Иннокентия Перетолчина, Андрея Перевалова. В декабре на Эдучанке на строительстве базы бригады соревновались за право попасть на Толстый мыс. Здесь собрались лучшие.

По ледяной дороге, которая просуществовала так недолго, на стройку пришли машины. Их водители — участники сложнейших ледовых походов Александр Струшинский, Владимир Агафонцев, Георгий Ахрименко — с нетерпением ждут новой дороги.

Новой дороги ждет вся стройка. Сейчас это главное — дорога.

3 марта 1963 г.

Дорога

Алексей Тищенко, моторист с Эдучанки, получил бульдозер и был направлен на трассу в мехколонну Николая Юдина. Мехколонна, ломая тайгу уже в двадцати километрах от Эдучанки, пробивала дорогу на Толстый мыс.

В первый же день Тищенко было поручено тащить по возникающей перед ним дороге будку, в которой ночевала бригада. Это была времянка на санях с печкой из железной бочки, с мизерным окошком, заставленная кроватями в два этажа. Будка прошла по тайге от самого Братска километров двести. Тищенко посадил ее на пень и развалил в первый же день.

Трактор, будку и Тищенко мы заметили метров за триста. Но по этой невероятной дороге наш «газик» колотился до него еще минуты две. Издалека мы увидели, что стены будки расползлись, пол рухнул и на снег вывалились шмутки.

Тищенко увидел нас тоже и заходил вокруг будки. Ему не терпелось оправдаться.

— Обормот! — сказал Каменев, начальник участка. — Вот обормот!

Мы спрыгнули с машины — Каменев, прораб строителей Шупинский и я, корреспондент.

— Что ты сделал? — спросил Каменев Тищенко.

Выпучив глаза, размахивая руками, Тищенко стал кричать в свое оправдание:

— Я один был! Я не виноват... Одному нельзя...

— Я виноват? — спросил Каменев и пошевелил скулами.

— У меня глаз на спине нет. Правильно — нет? — Тищенко спрашивал меня.

— Я виноват? — сказал Каменев. — У тебя все из рук валится, а виноват — я?..

— Одному разве положено будку таскать? Правильно — нет? — кричал Тищенко.

— Молчи! — сказал Каменев и быстро повернулся к Шупинскому. — Поезжай — привези всех. Чинить, скажи, надо — ночевать негде будет.

И мы поехали вниз, в падь, где трещали бульдозеры. Машина спотыкалась, как пьяный на лестнице, подобранный по дороге железный крюк бешено плясал и гремел в кузове. Ели преждевременной темнотой наваливались на дорогу, над ними кувыркались первые звезды. Через полкилометра мы наткнулись на бульдозер. Шупинский открыл дверцу и крикнул подходившему бульдозеристу:

— Кому вы будку тащить доверили?

— А что?

— А то, что — иди посмотри на нее. Садись!

Бульдозерист прыгнул в кузов, мы поехали дальше. Мы собрали всех, бригадир был впереди. Он ломал сухую лесину, она тихо стонала и вдруг с треском выстелилась на снегу. Бригадир отвел бульдозер в сторону,

выключил мотор, стало тихо, вывороченный пень осьминогом чернел на снегу, ошеломляюще пахло землей, закат бледными губами коснулся оцепеневших стволов, мы закурили.

— Ты кому будку доверил? — спросил Шупинский бригадира.

— Сломал?..

— Пополам, — сказал Шупинский. — Нашли кому доверить!

— Что я, пасти его буду?.. — И бригадир виртуозно выругался.

Возвращаясь, мы увидели костер, он бился у будки на дороге, как раненая жар-птица. Машина прыгнула, все скатились со скамейки.

— По этой дороге, — смеясь, сказал бригадир, — три года, как дятел, не проживешь. Два и — хорош.

Будку осмотрели молча; Тищенко стоял в стороне у костра.

— Это он уже вторую, — сказал Каменев. — Черт его знает, что за парень!

— Зачем же сюда послали? — спросил Николай Юдин, бригадир.

— Попросился, — ответил Каменев. — Как ночевать будете?

Я подошел к Тищенко, он ковырялся в костре осиновым сучком.

— Как не повезет, так уж одно к одному, — заговорил он.

— Ты откуда?

— Из Чернигова, — ответил он, — слыхал такой город?

Я бывал в Чернигове, и мы одновременно вспомнили каштаны на улице Шевченко и ласковую реку Десну.

К костру подошли все, Каменев, протягивая к огню руки, говорил:

— Вы сейчас против Банщикова. Дальше речка Каменная, а там Бадарма. До Толстого мыса километров полста...

— Ого! Еще пахать да пахать! — сказал Миша Филиппов, бульдозерист.

Совсем стемнело. В костер подбросили, он яростно прыгал в темноту, но, непобедимая, она была натянута над нами, как черная палатка. Кругом колыхались промасленные красно-медные телогрейки бульдозеристов. Шупинский в очках у костра выглядел странно.

— Ну, — сказал Каменев и пошел к машине, — пока.

— Про горючее не забудьте, Виктор Сергеевич! — крикнул Юдин.

— Не забуду. А с этим, — Каменев махнул рукой в сторону Тищенко, — как договорились.

Каменев и Шупинский уехали, кто-то завел бульдозер, забрался в снег и покатил на будку огромный сугроб. Брешь в стене, щели были таким образом закрыты; Толя Рыжбов, вальщик, напилил сухих дров.

Вошли в будку и затопили печку. На печку поставили ведро со снегом, стали чистить картошку.

Тищенко сидел на пороге, не раздеваясь. Он сидел неподвижно, глядя прямо перед собой. Он курил и молчал.

Снег в ведре растаял, по очереди умывались у ржавого рукомойника, бригадир чистил кастрюлю.

— Нет, ребята, — вдруг сказал Тищенко,— я вам сани приволоку.

Рыжбов, вальщик, рассмеялся и рассказал, как Тищенко утром, толкая лесину, неожиданно выпрыгнул из трактора и побежал в сторону. Бульдозеристы хохотали.

— Я посмотреть выскочил... — сказал Тищенко.

— Посмотреть, по какой дороге бежать? — не унимался Рыжбов. — Он прыгал, как заяц...

— Я подскользнулся...

— Э, да ты некованый.

— Правильно, Тищенко, трактор железный, его разогнуть можно, а ты, брат, с непривычки не выдержишь...

Парни развеселились. Тищенко смеялся вместе с ними, но через силу. Поспела картошка, открыли консервы, пристроились вокруг столика, от порога подвинули бочку с капустой. Печка порозовела, Леня Юревич сбросил рубаху, любовно потрогал свои мускулы, пошел крутить ветхий приемник.

— Ребята, я вам утром кушать сготовлю, — сказал Тищенко.

Миша Филиппов, в тельняшке, ловкий, опрятный, закурил и, вытянув ноги вдоль скамейки к печке, заговорил, улыбаясь и глядя в пустоту:

— Прихожу на вокзал в городе Великие Луки, подхожу к кассе, спрашиваю билет до Усть-Илима. «Куда?» — «До Усть-Илима». Шарилась она, ребята, в своих справочниках минут десять. «Нет, говорит, такой станции. Братск, говорит, есть, Усть-Илима нет». — «Ну, ничего, говорю, девушка, как-нибудь доберусь». Три года прошло, и вот вроде бы недалеко осталось...

Они стали стелить постели, а Тищенко пошел за дровами.

— Как теперь Тищенко? — спросил я Юдина.

— Парень он, может, хороший, — ответил он, — но здесь этого маловато...

И они стали ложиться. Тищенко вошел с дровами.

— Ложись, — сказал бригадир, веселый, стремительный волжанин.

— Нет, — сказал Тищенко, — я не лягу. Я буду топить всю ночь. Я сломал будку — буду топить... Я этот пень объехать хотел...

— Ну тебя к черту! — серьезно сказал Гоша Погодаев, «бурундук». — Уже ты надоел.

Задули коптилку и уснули колумбы тайги, побывавшие на Чукотке, в Тикси, на Лене, в Якутии — нет в Сибири места, где они не бывали, а вы будете там уже после них.

Утром у Тищенко с бульдозера сняли нож и отправили его из тайги.

Я уехал с машиной, доставившей в мехколонну горючее. День оказался солнечным, дорогой вроде трясло меньше, чем вчера, мелькали за окном сосны — гитарные струны. Один раз мы остановились, чтобы убрать с дороги кедр, по которому переехал трактор.

Голубые тени облаков[1]

История одной поездки

Мы сидим на лайнице осклизлой и темной от давности доски, с которой здешние бабы полощут белье. Нагретая июнем илимская вода проносит мимо нас запахи горящего где-то смолья, ноздреватого хлеба, который, видимо, пекут в деревне Игнатьевской.

Река делает петлю вокруг того места, где давно еще утвердился Нижне-Илимск. Янтарные волны, не торопясь, намыли в узком месте петли очень лиричные плесы, и мы видим, как на песке балуются пацанята.

Солнце вдруг специально для нас выхватывает из леса далекую опушку, одинокую и зеленую, на самом краю обрыва. На ней бы хорошо было выспаться, сморившись от тяжелой работы, или прийти туда суматошной компанией в субботу.

Мы хорошо понимаем, что еще не однажды вспомним эту речку, опушку, теплый холодок Илима на ступнях ног. И даже будем тосковать об этом дне, потому что он никогда не повторится и в нем поселятся воспоминания.

И мы начинаем тревожиться не ясно и радостно. Пристаем к ветхому деду в солдатской гимнастерке, рыбачившему по соседству.

---

1 Очерк написан в соавторстве с В. Шугаевым.

— Дед, а дед, у тебя какая фамилия?

Дед подозрительно щурится и молчит.

— Да ты не бойся, дед. Мы хотим запомнить тебя.

— А, к лешему меня запоминать, ребятки. Стар я, да со старика что возьмешь...

И он еще что-то бормочет про себя или про нас. И когда мы уже совсем было пошли, дед говорит:

— Ох, и рыбнадзор нынче строгущий стал. Того и гляди...

Он печально смотрит на нас львиными, пустыми глазами, соображает:

— Дак немудрено. Два мотора «Москва» на лодке-то...

— У кого?

— Да у рыбнадзора.

Дед снова что-то бормочет и отворачивается, чтобы с удовольствием посокрушаться в одиночку о строгости рыбнадзора.

А мы идем к Николаю Ивановичу Хомякову, этому самому рыбнадзору, и предвкушаем услышать от него всякие истории о браконьерах, в которых обязательно есть и туманы в рассветном тальнике, и глухая резвость играющей рыбы, и колоритные, здоровенные дяди, со звериной хитростью и жестокостью, пытающиеся обмануть и два всесильных мотора «Москва», и Николая Ивановича, неутомимого защитника водной живности от верховий Илима до низовой Ангары.

Но Хомякова мы не застали, потому что возле Невона браконьеры глушили рыбу, и Николай Иванович улетел на место преступления. Потом мы многих спрашивали о Хомякове: и в Кеуле, и в Тушаме, и в Невоне.

Нелестность отзывов всегда убеждала, что у рыбы, кочующей по Илиму и Ангаре, есть справедливый, не знающий усталости друг...

Смущенные яркой грустью июньского дня и его кратковременностью и чтобы не остаться в долгу перед будущими воспоминаниями, мы ходим и спрашиваем. Говорили с Колесниковым, директором здешнего зверокоопромхоза. Завтра уходит обоз на Катангу, по вьючной тропке к Илимской конторе пойдут на долгие месяцы в тайгу Ваня Русанов, Вася Непомнящих и Федя Брылев. На заимках поягодничают до морозов, а там уж и за настоящее дело. Агафья еще с ребятами пойдет, жена Степана Прокопьева, ждущая его там, в конторе. Земляничные поляны, горелые пни, брусничник около тихого ключа, глянцевитый жар от лошадей, сладкий сон на ночевках-станках, роса на смазанных дегтем сапогах, веселые кольца собачьих хвостов и охотничье одиночество, наполненное светлыми мыслями о красоте земли, — все эти вображения радостью обожгли сознание. А тут еще Николай Шалаев, конюх в красной ковбойке, с корнями вен на больших руках, рассказывает:

— Я-то бывший черемховский. Всамделишнюю тайгу не знал в свое время. И в первый же раз, как повел обоз, попал в историю. Возвращаюсь, значит, с конторы. Сам на Пирате впереди, остальные лошадки сзади постукивают. А был со мной еще щенок — кобелечек. Дурачок, совсем еще дурачок. И вот, значит, к речушке к одной спускаюсь, а Пират мой как вкопанный останавливается.

И кобелечек все к лошадям жмется. Я давай Пирата настегивать, а он зубы на меня скалит. Вот незадача. А потом присмотрелся — мать честная. На бережку, как четыре копны, четыре медведя сидят и меня разглядывают. Я съежился, ружьишко тогда плохонькое было да и медведей, кроме как на картинках, не видел. Думаю, что сейчас седеть начну. А кобелечек мой нахальства набрался да давай на этих носорогов лаять. Еще побежал к ним, да они так на него цыкнули, что он без памяти обратно ко мне. Медведи немного посидели и подались потихоньку восвояси. А я галопом верст семь нажимал. Как только лошадок не повредил — все удивляюсь...

Спасибо, конюх Николай Шалаев, спасибо, директор Колесников, за еще одну пахучую, солнечную дольку прекрасного, из которых слагаются дни и из которых мы составляем наши лучшие воспоминания.

...Потом мы плыли по Илиму. Из-за швартовой планки катера нас все время обкатывали холодные ветреные брызги.

Моторист, капитан и электросварщик Петя Куклин что-то громко кричит нам, но дизель раздражающе громок, и поэтому ничего не слышно. Беззвучно смеется Юра Слободчиков, кладовщик из «Речтранса». Он плывет с нами, чтобы встретить теплоход «Лермонтов» и поискать там безбилетников. Правда, на трассе Нижне-Илимск—Илим их не попадается, но форма!

У Юры доброе, как солнце, лицо, он могуч и проживет, наверное, сто лет. Мы все хотели спросить его, чего это он завяз на

складе при таких-то плечах и щеках! Но опять мешал дизель.

А на угоре, в соснах, странная деревушка. Молчаливая и грустная как одинокая женщина. Петя говорит, сбросив обороты, что из деревушки люди перебрались поближе к крупным селам, поближе к колхозам.

Мы молча поднимаемся на угор, идем по заросшим подорожником улицам, заглядываем в пустые глазницы окон. Немного неуютно. Резко пахнут цветы низкого незнакомого кустарника.

И все-таки даже в печальной заброшенной деревушке можно рассмеяться. Нам днем еще рассказывали о Кирьяне Павловиче Воробьеве. Он, последний житель Симахино, прослышал, что односельчане переехали в большой город. Дед Кирьян надел новую рубаху, смазал не жалеючи сапоги и решил поискать бывших соседей в Москве. И прямо у вокзала ошеломил прохожего вопросом:

— А где тут наши симахинские живут?

Вообще-то дед Кирьян — фантазер. В войну он был сапером, но перед сельчанами ему нравилось быть летчиком. Он говорил так:

— Лечу это я над своей деревней, вижу — баба моя белье полощет. Хотел приземлиться, поговорить про жизнь, но правительство не разрешило садиться. Так и пролетел дальше.

Эх, дед Кирьян! Послушать бы твои россказни в такой вечер, похохотать, прослезиться от махорочного дыма, а потом потихоньку бы пойти босиком по теплой пыли деревенских дорог...

На другую сторону нас перевозили Вовка

и Гришка, два припоздавших рыбака с посиневшими коленками. И лодка с плоскими бортами напоминала пирогу, дальняя луна была у самого ее носа, и от стареньких рубашек Вовки и Гришки пахло парным молоком, рыбой, сном.

— До свидания, Вовка и Гришка!

До свидания, белый июньский день!

В Кеуль — две дороги. Одна гладкая, холодная, мощенная золотом и серебром, эпически широкая дорога сквозь тайгу. Темные, тяжелые сопки громоздятся по обеим ее сторонам, мелькают веселые острова с березами, раскидистыми, как дубы, осинками, стройными, как танцовщицы. Дорога эта — Ангара.

Другая — прямая, необъятная и непроходимая, когда ветер и дождь. Маленькие здешние самолеты летают только в отличную погоду.

Третьей дороги в Кеуль нет.

Наш «Антон» приземлился прямо за огородами, по лужайке подрулил к новому домику, взревел, замер — и мы прыгнули на траву. Нам быстро объяснили, что домик, обшитый свежим тесом, — аэропорт, а улочка, тайгой прижатая к реке Кеуль, — старое кержацкое село.

Что ж, здравствуй, Кеуль! Будем знакомы! Ты хорош уже тем, что мы с тобой никогда не виделись.

Здравствуй, Кеуль! Нет, положительно ты хорош. Крепки серые вековые твои дворы, румяны новые твои срубы, затейливы резные наличники на твоих окнах, что уставились на мир с наивным, святым удивлением.

На улице возилась ребятня, и ласковые томные от жары собаки рассиживали у ворот на шикарных своих хвостах.

Мы кое-как выяснили, что все взрослое население на том берегу Ангары огораживает загон для колхозного стада. Дома почему-то оказались здоровенный колхозник Гаврила Анкудинов и его сын Володя, охотник. Нам где-то надо было устроиться. Анкудиновы посоветовали пойти к бабке Наталье, тоже Анкудиновой, но в родне с Гаврилой и его сыном не состоящей.

К бабке повел нас Володя, красивый парень, разговорчивый, ловкий, с победительной бесконечной усмешечкой на губах.

— Возьми постояльцев, — сказал бабке Володя, — серьезные люди.

Бабка, скособенясь, снизу вверх взглянула на нас быстро-быстро. Бабка сказала:

— Кто их знает... Серьезные или какие. Никто не знает. Не беру я постояльцев. Брала, а больше не беру.

Володя снисходительно (к бабке, к нам, к целому миру) стал объяснять ей, что мы не жулики. Она минуту не соглашалась, потом отвернулась от нас, пошла на кухню и на ходу выронила:

— Оставайтесь. Куда пойдете? Все на городьбе.

Володя усмехнулся и ушел, мы стали приставать к бабке с расспросами, она отвечала охотно и обстоятельно. Ей восемьдесят три года, у нее три дочери, они вместе с детьми живут по разным местам — в Тушаме, в Ангарске, одна живет здесь, в Кеуле, но другим домом и заходит редко. Бабка живет

одна и хозяйничает одна. Всю жизнь прожила в этом доме, всю жизнь занималась скотом, огородом и рыбалкой. Сети ставит с детства и по сей день ставит. У нее своя лодка и полный амбар снастей.

— Как же ты одна со всем управляешься? Не трудно тебе?

— Так и маюсь, — просто, не жалуясь, ответила она. — Живу и маюсь, — сказала она с удовольствием.

Немного погодя выяснилось, что у бабки Натальи уже живет постоялец — рабочий из геологической партии, которая вся квартирует в Кеуле и тут же, по берегам, ищет уголь и бокситы.

Оказалось, что Вася Сизых, бабкин постоялец, в этот день уволился и `уезжает в Кежму — туда, откуда приехал месяц назад. За свои двадцать пять лет он объездил чуть ли не весь Красноярский край, бывал и в других местах, по леспромхозам, у геологов, у плотников — нигде ему не нравилось, нигде не сиделось.

Он вошел в избу, высокий, с огромным кудрявым чубом, в темно-синем плаще до пят, поздоровался и тут же спросил, не уезжаем ли мы в Кежму: он искал попутную лодку. Мы ответили, что только что приехали, и он мгновенно потерял к нам всякий интерес. Он сел за стол у окна, положил на руки небритый, сверкающий, как мокрая трава, рыжий подбородок и, выпучив глаза, закручинился тупо и беспробудно.

— Уезжаешь?

Он не ответил.

— Что тебе здесь не понравилось?

— Погнался, дурак, за длинным рублем,— заговорил Вася покаянно.

— Ну, а здесь какой рубль оказался?

— Ну его к черту, Кеуль этот! — закричал вдруг Вася с воодушевлением.

— Куда же ты сейчас?

— В Кежму! — сказал он полувосторженно.

— Тебе и в Кежме будет худо, — сказала ему строго бабка Наталья, — в Кеуль захочется.

Вася взглянул на нее испуганно.

— Ну! Придумала ворона! — сказал он, но моментом успокоился и уже мечтательно произнес:

— В Кежме лучше.

К вечеру мы узнали о Кеуле уже многое.

На тот берег упало малиновое покрывало заката, вода в реке потемнела, далеко моторки запели, как туча комаров, — пришел вечер, раздумчивый и спокойный, как старость бабки Натальи. Моторками через полчаса был усеян весь берег. Лодки здесь в каждом доме. В лодках здесь ездят больше, чем ходят пешком. Скромные колхозные угодья: немного пашни, покосы, загоны для скота — все это находится по берегам и на островах. Сегодня колхозники огораживали узкую полоску вдоль того берега. Туда за четыре километра привезут коров, и они будут жить там, пока съедят всю траву. На дойку будут ездить из села, через реку. Пастбище огораживают, чтобы коровы не разбрелись,— медведь ходит здесь всюду.

В зените лета ночи здесь незаметные, вовсе не темнеет. Почему-то не спалось, да еще

рядом с бабкиной избой, у магазина, девки собрались в очередь за дешевыми туфлями. «В жизни раз бывает восемнадцать лет», — выли девки. На сундуке храпел Вася, кудрявый дезертир. Попутной лодки он так и не нашел.

Утром нас разбудил бригадир криком в соседское окно:

— За реку! На городьбу!

Утро вдруг оказалось пасмурным, нудил едва заметный дождь. Бабка зажарила нам тайменя, выдала кринку молока и подалась по хозяйству.

По меже, по бабкиному огороду мы спустились к серой скучной реке, там была уже вся деревня. На берегу мы познакомились с Георгием Сусловым, начальником геологической партии. Георгий молод, но суров и серьезен не в меру и, видно, мужик толковый. Он взял нас в свою лодку, и мы поехали за Ангару, к рабочим-геологам, что бьют на том берегу шурфы.

Парни живут в палатке у самой воды, их трое — Илья Антонов, Толя Матюшков, Юра Миронов. В деревне часто бывать не приходится, они свыклись с пещерной своей жизнью, на вещи смотрят с трезвым оптимизмом, шутят непрерывно, напропалую. Это им необходимо в первобытной их жизни.

Мы навалились на них со своими извечными вопросами, пошли смотреть шурфы, потом курили у костра. День разгуливался, с запада поперли белоснежные, непорочные облака. В лесу какая-то птаха твердила одно и то же — что-то бесхитростно меланхолическое.

— Когда она спит? — сказал Толя. — Вот всю ночь так и весь день, без обеденного перерыва. На прогрессивку.

И тут, раздвинув тяжелую портьеру тальника, к костру вышла Валя. Валя Карнаухова, коллектор. Она возвращалась от дальних шурфов, спортивные брюки и плащ на ней наполовину вымокли. Она раскраснелась — быстро шла, и глаза ее блестели восторженно. Рослая, стройная, Марьяна, амазонка! Валя в прошлом году закончила десятилетку и осталась в Кеуле, в своем селе, в своей тайге...

Уезжали мы на лодке, был пышный июньский день, голубые тени шли по Ангаре плавучими островами.

Село удалялось от нас, кивая нам старой деревянной церквушкой на горе, белой фермой, трепещущей лентой горной речки. Село удалялось, становилось воспоминанием надолго, а может быть, навсегда.

И вот исчез за зеленой сопкой Кеуль — столица задумчивости и белоснежных облаков.

Путь наш был на Усть-Илим.

Электрик Костя говорил о любви. Он говорил о ней со вкусом и большим воображением. Не так давно, по нечаянности, Костя лишился трех передних зубов и поэтому немного шепелявил. Это в известной мере портило его лирический рассказ, но палатка слушала, затаив дыхание.

— Как получается в действительности, ребята. Я одинок, как телеграфный столб, и, естественно, мечтаю о нежных женских ру-

ках. Пусть они будут даже без маникюра. И вот сегодня из соседнего селения я привожу в палаточный городок девушку. Это очень симпатичная девушка, в красивой красной юбке и белой-белой кофточке. Я привожу ее на мотоцикле и всю дорогу чувствую затылком облако ее дыхания. Плавлюсь от нежности и хочу что-нибудь сказать запоминающееся, хочу понравиться. Но молчу. Ибо знаю, что в красном уголке она будет танцевать не со мной. Видите, какой у меня длинный нос? Из-за него придется весь век прожить холостяком, потому что я не представляю, как бы меня целовала существующая в мечтах жена. Мне грустно. И я отвезу обратно в соседнее селение после танцев симпатичную девушку. И опять буду молчать...

Палатка от некоторых ярких деталей Костиного рассказа погромыхивала легким хохотком, но, в общем-то, в палатке хозяйничала вечерняя грусть. Опиумная сладость ее закрывала парням глаза, непонятной и острой тоской сжимала сердце.

А по улицам далеких городов шли веселые и прекрасные девушки, вернее, какая-то одна, рожденная одиночеством, а потому самая прекрасная Девушка, ее следы оставались на неверном песке пляжей, терялись на одиноких тропинках черемуховых рощ.

А в красном уголке — музыка. Счастливцы из мужского монастыря «Палаточный городок» танцуют современные танцы с принцессами и королевами: с продавщицей из магазина, с хрупкой девочкой из бухгалтерии участка и еще с несколькими инфантами из местной столовой.

У всех у этих «титулованных» особ есть уже свои короли и принцы, потому остальное население монастыря мрачно возлежит в брезентовых кельях или, отрешившись от собственного «я», счастливо глазеет на современные танцы.

Легче семейным. Около их палаток дымят очаги, плачут и смеются ребятишки. На девственной земле Усть-Илима возделаны огороды с луком и редиской, а последней и возвышающей деталью этой идиллии являются жены. Жены бульдозеристов, трактористов и плотников. Их простоволосые и в платочках головы, молодые лица, обожженные солнцем и жаром очагов, напоминают о вечности и обыкновенной красоте земли.

Легко еще вечерами диабазовому великану — Толстому мысу: он многие века захлебывается от прозрачной любви Ангары.

Одиночество и тоска по нежности уходят вместе с ночью, растекаются по низинам зыбкими полосами тумана. Днем главная любовь — трасса. Непокорную, неверную, невероятно упрямую — ее нельзя не любить.

Обернувшись комариной злобой, непроходимым болотом, фантастическим буреломом — трасса всегда проверяет, насколько глубока и верна любовь к ней.

О, трасса может быть спокойной! Доказательством верности ей — янтарные мозоли на руках парней, губы, пахнущие ветром и жаркие от неразделенной любви, спины, глянцевеющие от силы и пота, наконец, одиночество, — это тяжелая дань за право быть первым.

Но вечерами люди думают о земной люб-

ви, оставшейся в зеленых городах и синих деревнях. Думает Толя Яковлев, прошедший одиночество многих таежных кочевок, веселый острослов и затейник, вечерняя грусть сильнее могучей воли Вани Тюрина — она отрывает его от учебников, по которым Ваня второй раз собирается поступить в институт, придумывает будущую любовь Толик Корнейчук, еще по-мальчишески румяный и вспыльчивый.

Усть-Илим жаждет любви. Жаждет нежности.

Мужество там прописано.

Командировка кончалась, времени, как всегда, казалось, не хватает, в последний вечер мы гонялись по палаточному городку за героями наших будущих очерков. Мы жаждали подробностей, уточнений, дополнительных сведений.

— Я забыл тебя спросить, Миша, где и как ты познакомился со своей женой?

Миша, конечно, отвечал:

— А это еще зачем?

И тогда начинались разные уловки, уговоры, хитрости, начиналась потная охота за сюжетом, погоня за откровениями сквозь дебри психологии. Иногда, чтобы что-нибудь узнать о Мише, приходится много рассказывать про себя.

Мы устали в этот душный вечер.

Грустно скользнув по воде бледно-оранжевым шлейфом, закат утонул в Ангаре, за палатками тайга застыла сплошной черной стеной, прогромыхал мотоцикл — грустный

комик Костя увез в Невон свою любимую, которая весь вечер танцевала с другим, заныла, запричитала чья-то гитара, а мы уснули, сунув под подушки свои драгоценные блокноты. Но блокноты наши никому не нужны в этой усталой палаточной Севилье...

В прошедшую ночь в Невонском аэропорту ночевало семь пассажиров. Утром все они сидели в небольшой комнатке, молчаливые и нелюбезные от нетерпения. Начальник аэропорта, маленький, не по летам быстрый и верткий человек (из местных, невонских), вошел и объявил наконец, что будет «Антон» — улетят все вчерашние пассажиры и два новых. Мы бросились за билетами. Напрасно. Начальник сказал, что полетим не мы, а только что подошедшие из Невона муж, жена и ребенок. У ребенка, сказал нам начальник, корь, у родителей — аппендицит.

— У него аппендицит?

— У него, — ответил начальник.

— И у ней?

— И у ней.

Мы, конечно, не возражали. Хотя были несколько удивлены таким дружным натиском недугов на такую румяную семью.

«Антон» улетел. В аэропорт на попутном ЗИЛе приехали ребята с трассы и из палаточного городка. Им надо было лететь в Братск на слет ударников коммунистического труда. Среди них наши знакомые — Ваня Тюрин и Александр Иванович Нестеренко — лесорубы, бригадир плотников Иннокентий Перетолчин, завскладом Аня Ступак.

Утро было отличное, но к обеду стало душно, воздух остановился, свежесть от реки

не доходила до нас, комары озверели, через полчаса ударила гроза. Мы узнали, что аэропорт работает до десяти вечера, и еще надеялись улететь.

В тот день мы не улетели. Можно и не продолжать эти дорожные жалобы, но в Невонском порту мы попали в историю, настолько распространенную на наших дорогах, что ее хочется рассказать.

Шел дождь, и из Нижне-Илимского аэропорта нашему начальнику пришло разрешение закончить на сегодня работу. Начальник выдал нам раскладушки, быстро собрался и уехал на рыбалку. В аэропорту осталась диспетчер, молодая женщина, которая жила за стеной с маленькой дочкой.

А через полчаса кончился дождь, трава мгновенно высохла, стало безоблачно, было четыре часа дня — самолеты могли ходить. Снова появилась надежда улететь, и мы постучали к диспетчеру. Мы просили связаться с Нижне-Илимском — авось оттуда придет «Антон», и тогда улетим мы и улетят делегаты, которые рискуют опоздать на свой слет.

Диспетчер, ее зовут Лида, выслушала нас молча, с большим участием. За день мы успели познакомиться. Лида казалась нам (да она такая и есть) очень чутким, внимательным к людям человеком.

— Только позвонить, — просили мы застенчиво, — пусть нам откажут, разрешите нам успокоиться.

И тут добрая, чуткая женщина Лида произнесла эту грубую, тяжелую, как диабаз, фразу:

— Не положено.

Мы затихли. Мы по опыту знали, что в таком случае надо притихнуть и как ни в чем не бывало почитать газету. Надо экономить нервы, время — мы это знали. Ни в коем случае нельзя задавать вопросов.

Но в наших мыслях шевелился еще легкомысленный оптимизм. И мы заговорили. Осторожно, даже робко:

— Но ведь это ваша работа. У вас есть ключи от диспетчерской, и вы отлично владеете рацией. Почему же нельзя?

— Не положено, — отрезала Лида и снова перестала походить на саму себя. — Без разрешения начальника — не положено.

Дальше разговор пошел обыкновенный. Мы убеждали, просили, приводили примеры, спрашивали, что бы стала делать Лида, если бы случилось какое-нибудь ужасное происшествие и срочно понадобился бы самолет и т. д. и т. п. Мы были красноречивы и убедительны. «Человек человеку, — говорили мы, — друг, товарищ и брат». Мы говорили. А Лиде не надо было говорить. У ней было одно неотразимое, неподвижное, как стена, слово: «Не положено».

— Я вас понимаю, — сказала она, когда, изможденные и онемевшие, мы попадали рядом со своими рюкзаками, — я очень хочу вам помочь. Но — не положено.

Погода была прекрасная.

На следующее утро пришел «Антон».

Последнее видение Усть-Илима: серые кубики палаточного городка, богатырская гранитная грудь Толстого мыса, «Три лосенка»— три острова перед створом будущей плотины и во все горизонты — зеленый океан.

Снова был Нижне-Илимск — пыльная столица рыбаков и охотников, был день — жаркий нежный выдох всесильного лета, была дорожная томительная суета, звенела розовая натянутая струна возвращения...

Вечером того же дня в Иркутском аэропорту мы приняли парад элегантных городских тополей.

Белые города

Парням стучит третий десяток, а что они видели? Жизнь у них вышла такая, что, кроме Братска, они ни в одном городе не бывали.

Хорошо родиться где-нибудь в Мелитополе, в безмятежном южном городке, провести детство в яблонях и полусне, коллекционировать марки, презирать девчонок, учиться играть на кларнете, стать пловцом-разрядником. Хорошо быть смешным и легкомысленным, в белом городе шататься с друзьями по улицам, бесцельно и беспечально, провалиться на экзаменах, побродить по другим городам, поссориться с приятелями, влюбиться, помрачнеть, задуматься, послать все к черту и вдруг уехать в Сибирь, на стройку. Хорошо ехать в Сибирь бывшим футболистом, ценителем сухих вин, остряком и сердцеедом. Из окна вагона смотреть на живописный осенний тлен и думать свою думу. Угадать в темную глухариную тайгу, в суровые морозы, к суровому бригадиру, выстоять, перековаться и зажить по-новому. Не жизнь, а роман!

Совсем другое дело, если ты родился в Сибири, вырос в Сибири, работаешь в Сибири. Да все это в одном и том же районе. И

только когда тебе пошел третий десяток, ты переехал в другое место. Это совсем иное дело.

Не бывали парни в городах, не было у них дальних дорог и крупных разочарований. Но их юность, полная удивления и беспокойства, заслуживает очерка, повести или даже романа, как юность всех тех, кто строит города и дороги. Они видели главное и поняли главное, не затрачивая на это времени и километров.

Леня Дорофеев и Гоша Садовников никогда уже не наведаются в родное село. Не пройдут за огородом, где пацанами таскали огурцы, не распахнут, облаянные забывшими их собаками, знакомых калиток, не сядут на старое зашарканное крыльцо. Их детство осталось на дне моря...

В сорока километрах от Братска вверх по Ангаре было такое село — Наратай. На острове, наполовину заросшем сосняком, десятка три дворов, начальная школа да магазинчик. Все это давно перевезли на новое место, в Калтук, вверх по Оке. Над островом сомкнулись зеленые волны Братского моря. Но Леня Дорофеев помнит каждую жердь в гнилых заплотах Наратая.

В селе жили рыбалкой, охотой, немного сеяли, держали коров. Берега, левый и правый, были непролазной тайгой; студеные ангарские туманы пеленали этот остров, глухой и беспомощный; в грозу и метели здесь жить было страшно; самолет над селом пугал старух, был таинственным видением другого ми-

ра. В селе все куда-то собирались уезжать, вдовы сходились на Марихином дворе, выли песни, мужики вечерами сидели на крыльце магазина, судачили, иногда плясали «подгорную» по единственной улице — туда и обратно. Первый радиоприемник появился в сорок восьмом году вместе с первым учителем. Братск тогда еще не был Братском, а от Заярска приезжали только на лодках работники сельпо да один-два браконьера.

Но, как сказки, рассказанные нам в детстве, никогда не будет забыт Наратай. От него навсегда остался запах пыли и молока за прошедшим по улице стадом, восторженная тишина летних вечеров, черные головы подсолнухов на вызолоченном закате, сугробы, блестящие от просыпанных в них звезд, осенью — багровая агония осин на левом берегу.

Леня и Гоша — давние друзья. Как-то осенью ребята навострились за брусникой, а Гоша должен был сидеть дома и ждать, пока мать вернется с картошки и даст надеть ему чирки. Приятели подождали-подождали да подались. Друг появился в минуту нестерпимой обиды. Леня Дорофеев вернулся и отважно просидел с Гошей до самого вечера. После они выручали друг друга не раз, но это само собой, как продолжение того дня, что в детстве они провели в ожидании чирков.

Пацаны посещали школу, причем учились хорошо — все, что рассказывал учитель, было удивительно. После уроков играли в лап-

ту мячом из трута — губчатых наростов на березовых пнях. Таким мячом больно ушибали спины и разбивали носы.

* * *

Время отыскало этот забытый богом угол. Под ухом у оглохшей деревни время рявкнуло взрывами строительства дороги Тайшет — Лена, на правом берегу Ангары появились люди с кирками, от первых взрывов в Наратае задрожали стекла.

Старухи затосковали, старики подозрительно переглядывались, бывшие фронтовики сели в лодки и погребли к правому берегу. Дорога строилась прямо вдоль Ангары в шестистах метрах от Наратая. Пацаны стали сбегать с уроков, угоняли лодки, бродили по свежим путям, вдыхали запах шпал — излюбленный запах бродяг и неудачников. Дорога еще строилась, а уже замышлялись побеги и путешествия.

Приход в эти края новейшей истории был провозглашен гудком первой маневрушки летом сорок девятого года. Одновременно ее голос прозвучал призывным горном для Лени Дорофеева, который как раз в это время гнал домой корову. Корова удивилась, подумала и откликнулась густым баритональным мычанием.

Дорога Тайшет — Лена была лишь началом больших строительных эпопей.

В новейшей истории Наратаю отводилась роль Помпеи, разумеется, без жертв и неожиданностей. Заговорили о Братске, о невиданной стройке, что вот-вот должна грянуть у Падуна. Из Заярска приехал продавец и

рассказал, что на Ангаре появились уполномоченные, что соображают, куда и как переносить деревню. При упоминании об уполномоченных, которых здесь никто не видел с сорок первого года, старые наратайские браконьеры тонко усмехались. Все больше говорили о затоплении. Половина Наратая в затопление не верила. А старик Василий Федорович Дорофеев совсем расстроился.

— С ума народ сошел! Взбесился! На Ангаре пруд прудить! — И сердито хохотал.

Старик сцепился с первым же уполномоченным.

— Я век здесь изжил, — говорил он, — знаю, какие наводнения бывают. Не поеду, даже не говорите. Никуда не поеду!

Ах, дед, дед! И через пять лет на новом месте, в Калтуке, ты бормотал грустное и смешное:

— Я вот зиму перезимую и домой поеду. Не будет там никакой воды — помяните мое слово.

И даже когда вода поднялась в Оке, у Калтука, не видевши Братска, он ничего не понял. Он стоял на берегу, скрестив руки, величественный и неправдоподобный, как морской царь Нептун.

— Спадет. На горах лед размыло...

Братск вытеснил мальчишечьи мысли о побеге. Кто видел Братск, тот не захочет суетиться по вокзалам. У Падуна Леня и Гоша встретили бывших жителей всех городов, которыми грезили в детстве. Но они не успели к Падуну. У Падуна Ангара

уже двигала турбины. У Ярмоша, начальника отдела кадров, они просились на Усть-Илим.

— Там нет жилья. Нужны плотники.

Кто же еще плотники, если не они, уроженцы несуществующего села Наратай?

— Будете жить в палатках, предупреждаю.

На Усть-Илим они успели.

* * *

На стройке их зовут бурундуками. В Братске, в Коршунихе, в Чуне, на ЛЭП и здесь, на Усть-Илиме, — всюду местных, сибирских, зовут бурундуками. С первого взгляда это прозвище кажется несколько оскорбительным, но только с первого взгляда. Обижаться не следует. Будешь обижаться — назовут еще как-нибудь.

— Бурундук — приятный зверь, красивый, а что? — рассуждает Иосиф Кирсанов, вальщик. — Ничего нехорошего я про него не слышал, пожалуйста.

Мы сидим на нарах в подслеповатой будке. В открытую дверь видна трасса — шестидесятиметровая просека. На ней медные, как купальщики, лежат рядами сосновые стволы. Если пройти по просеке пять километров — выйдешь к Толстому мысу. По тайге, исписанной бульдозерами, по гладкому, нарядно отполированному диабазу дойдешь до створа будущей плотины. Створ узнаешь по черному пятну штольни у осин на правом берегу. Прямо перед тобой будет остров, высокий и стройный, как теплоход,

и серебряная щетка шиверы. Толстый мыс величественнее Пурсея: под мощными соснами богатырская гранитная грудь и легкая, как ветер, трава среди камней у воды.

Трассу на Братск ведут от Толстого мыса пять бригад лесорубов, среди них бригада Утина, где работают Гоша Садовников и Леня Дорофеев, бурундуки. Мы сидим в темной будке в короткие послеобеденные минуты, курим и разглагольствуем. Здесь бригадир, властный и шумный Саша Утин, братья Кирсановы и вальщик из бригады Васиченко Эрик Данило. Он шел к своим на Мирюнду, завернул воды напиться. Эрик рассказывает о себе, о своих причудливо длинных дорогах. Прежде чем попасть на Усть-Илим, он побывал на Алтае, в Белоруссии, на Лене, на Байкале — где он только не был!

— Что же ты искал? — спрашивает Эрика Гоша Садовников.

— Смотрел, как живут люди.

— Ну, и как они живут?

— Люди везде живут одинаково, — сказал Эрик,— это надо понять.

— А мы, — сказал Леня Дорофеев, — не были даже в Тайшете.

— Серьезно? — спросил Утин, а все молчали. Сытый комар медленно поднялся с руки Иосифа и тупо прожужжал в дверь.

— Побываете еще.

— Побываем, — сказал Леня.

— В Крым надо ехать, — сказал Данило, — в отпуск. Города там белые, мошки никакой.

Разговор этот происходил в тайге у Толстого мыса, где будет город, и белые улицы, и сады, где сейчас нет ничего, кроме палаточного городка, и где глухарей бьют с крыльца будки, в которой спят и обедают.

Усть-Илим

Вечер

Вечером Миша Ковча, двадцатилетний плотник, сел за стол, чтобы написать письмо отцу в село Городжив далекой Львовской области. В палатке рядом с раскаленной печкой жарко, а по углам холодно, окошки обледенели, на койках два парня спят в бушлатах.

В Усть-Илим отец прислал сыну первое письмо. А те, другие, он присылал в Братск, а еще раньше — на целину.

Отец интересовался: «Пишу, сын, до тебя письмо, в котором хочу спросить. Куда ты едешь? Чего гоняешь по земле? Чего ищешь?»

«Добрый день, тата, сестренка Надя и Катерина Алексеевна. Живу хорошо, работа идет хорошо, новостей никаких нет...»

Ручка выскальзывала из его желтых пальцев, бесчувственных от работы и морозов.

Вошел Толя, шофер, хлопнул рукавицами, разулся. Миша его не заметил. Шофер пристроил валенки на шест у печки, снял со стены гитару и развалился на своей койке.

Шофер бренчал, трещали в печке дрова, Миша писал ответ в село Городжив.

«Я работаю в бригаде товарища Притулы. Работа не тяжелая. Палаток здесь больше десяти, а мы строим новый поселок и баню строим.

Живем мы в палатке семнадцать человек. Время проходит хорошо, работаем пока светло, а вечера проводим весело. Играем в домино, в шахматы. А то рассказываем анекдоты и вообще — кто что знает.

Морозы бывают большие. Товарищ Притула говорит нам: «Можете сегодня не работать».

Но мы идем, и первым сам товарищ Притула...»

Шофер вдруг ударил по струнам всей пятерней, резко заглушил их и бросил гитару на соседнюю койку. Гитара всхлипнула.

— Жизнь!.. — сказал шофер и выругался. Миша взглянул на него бессмысленно и перевернул лист.

«В письме, что вы до меня написали, вы спрашиваете, почему я уехал из Братска. А уехал я оттуда, потому что сам попросился. Сюда ехать считается за почет и что повезло. И я так думаю.

Река здесь широкая, на середине острова, и красиво. Когда приехали, ходили на Толстый мыс, где будет строиться ГЭС. Это большая гора, и на ней стоит знамя.

Вы говорите, дома цветут сады, а здесь климат тоже хороший, и тут, может, зацветет.

Напишите мне, что вам надо. Мне здесь куплять нечего. Все у меня есть.

Сестренке Наде передайте, пусть она скажет Кате, которая очень весело уехала в Одессу, что я ее забыл. Письмо та Катя мне написать не может, на это у нее никак не хватает времени. Надя, передай ей, что я ее забыл.

Вот и все. Трудностей пока никаких нет...»

Миша закончил письмо, разделся и лег. Он сразу же уснул, чтобы через семь часов начать новый полный лишений день — один из труднейших дней начала стройки.

Усть-Илим

Билет
на Усть-Илим

— Есть много других городов, есть много других женщин, улыбок, деревьев, фонарей. Но на свете есть много-много другого.

— Мне не надо другого. Мне нужен мой город, моя улица, моя женщина.

— Где все это? Может быть, ты знаешь?

Из разговора

Осень первая

Кленовые скрипучие ковры под ногами, остекленевший синий воздух, скучный горький запах костров, что жгут в огородах. Великолукский тихий вокзал, неожиданно громко стучащие поезда.

Куда?

Ленинград, Минск, Смоленск, Москва, Москва, Москва...

— Девушка, мне бы билет.

— Куда?

— До Усть-Илима! Это, девушка, в Сибири, на Ангаре.

Девчонка шарится в справочниках. Как карты, веером летят страницы. Такая озабоченная девчонка. Нагадай мне, нагадай!

— Нет такой станции. Братск есть, Усть-Кут есть, Усть-Илима нет.

— Поищи-ка, поищи. Там ГЭС начинают строить. Неужели не слышала?! Темнота. Воспитательная работа у вас отстает.

— Такой станции нет.

— Да не сердись. На нет и суда нет. Как-нибудь доберусь.

Дома.

— Прощай, батя. Еду покорять Сибирь.

— Всю?

— Зачем! Речку там одну запрудить надо. Ангару.

Осень вторая

Дороги на Усть-Илим нет. От Игирмы до Илимска дороги тоже нет. Дикий, как медведь, Семеновский хребет. У будки тлеет осиновый костер.

Какое сегодня число? Второе, а может быть, шестое. Зачем делать дорогу, если по ней никто не ездит? Есть ли еще на земле люди или на земле остались одни медведи? Где-то есть. В Москве, например, на Казанском вокзале.

Мотор! Точно мотор! Чего доброго, проскочит. Ну нет, на этой автостраде мои порядки...

— Здорово, человек!

— Привет! Бульдозер-то с дороги убери.

— Не спеши, парень. Скажи-ка ты мне, какое сегодня число.

— Первое число. Давай дорогу!

— Первое? Не может этого быть! А месяц какой?

— Не дури, дай проехать.

— А какой нынче год, не скажешь?

— Ну тебя к чертовой матери! — обозлился шофер.

— Вылезь, парень. Не пущу я тебя. Пойдем в будку чай пить.

В будке, от скуки прибранной, за дощатым, заставленным консервами столом Миша Филиппов говорил проезжему шоферу:

— Надо же — первое октября 1961 года! Кто бы мог подумать!

Шофер сыто усмехался, рассказывал о Коршунихе, о своем отпуске, который он провел в Заларях, и все, что знал из текущей политики.

— Чудак ты, парень, — говорил Миша, глядя на шофера ласково, — честное слово, чудак.

Шофер был первый человек, которого Миша видел за полтора месяца, когда он на Семеновском хребте остался один пробивать трассу Игирма — Илимск.

Весна первая

Распорядилась весна, а Нижне-Илимский районный исполнительный комитет подтвердил ее распоряжение. «С 15 апреля проезд через Илим воспрещается», — было напечатано в районной газете. Было и предупреждение: у Макарово провалилась леспромхозовская машина.

В тайге рождались запахи, снег дряхлел на глазах, к вечеру блестела измазанная солнцем река. На 15 апреля у Миши Филиппова, бригадира бульдозеристов, была назначена женитьба. Весна обставила это событие яркими романтическими декорациями: Миша

жил на правом берегу Илима в Игирме, Галя — его невеста — на левом, в Макарово. Дорога опасная и единственная через Илим, по которой заказал ездить исполком.

Миша две недели не был в Макарово. Там ждали...

У Меледина, директора леспромхоза:

— Дело, Миша, дело. Хватит шататься холостяком. Одобряю, но кто же согласится ехать?

— Перетолчин.

— Согласится?

— Сразу же.

— Потонете...

— Какой же интерес...

— Езжайте, что с вами делать!

— Спасибо.

— Осторожнее, хулиганы!

В Макарово ехали засветло. Третьим ехал сват бульдозерист Михаил Шустов, хромой, гоношливый, в леспромхозе — первый звонарь. В предвкушении выпивки он был невероятно оживлен, врал и острил напропалую.

— Жениться, — говорил он, — надо ездить на бульдозере. Уважения больше и задний ход хороший.

Доехали без приключений. Миша с силой радостно распахнул дверь, в избу вкатился Шустов, забормотал пословицы и поговорки, перездоровались. Миша вошел в комнату.

Галя серьезная, бледная, в белой кофточке стояла у окна.

— Ну что, — сказал Миша, — выйдем к обществу. Женитьба так женитьба!..

Вот так ночь! Хрустящая, хрупкая апрельская ночь. Праздничные тещины слезы, звез-

ды, свадебные подарки, веселая дорога. В кабине невеста. Жених и пляшущий сват в кузове. В Игирму!

Сват, что ты в жизни понимаешь! Послушай меня. За этой девчонкой я ехал пять тысяч километров. Ровно пять тысяч, понял ты или нет? Откуда я знал, что она здесь. В том-то и дело! Откуда? Но там, куда я не поехал, там ее нет! Понятно это тебе? А-а! Молчи уж ты, пьяница! Что дорога? Хорошая дорога! Отличная дорога! Молчи! Нет здесь никакой дороги. Кто нам ее здесь приготовил? Сами построим. Мы с тобой и построим. И город построим. Сообрази — сами и построим. И поведу я тебя, алкоголика, на бульвар кофе пить. Черный кофе — сообрази! Очень культурно...

Ух ты! Держись, сват!

Глухой выстрел — в ночь. В кабине вскрикнула невеста.

Под задними колесами треснул лед.

Шофер Петро Перетолчин через пять минут, высунувшись из кабины:

— Было бы смешно, ребята. И свадьба и поминки — заодно.

Весна вторая

На них была вся надежда. В палатках у Толстого мыса их ждали зимовщики, робинзоны, островитяне. На стройку можно было попасть только самолетом. Машины и стройматериалы должны были пройти по этой новой, первой дороге.

Они начали от Эдучанки в феврале. До того, как растает снег, по новой дороге должны были пройти автоколонны.

Итак, Миша Филиппов вышел на финишную прямую. До Усть-Илима было девяносто километров. Девяносто километров тайги, холода, пота.

Шесть бульдозеров с утра до поздней ночи ревели в илимских чащобах, сосны стонали и падали в белый снег. За ними была уже дорога, по ней уже колотилась машина с горючим, с продуктами. Спали ребята в будке, которую волокли за собой на деревянных санях.

Ночью у Мирюнды. До Толстого мыса двадцать километров. Будка надоела, они сидели у костра, курили, разматывали длинные армейские истории. Искры кружились над ними и превращались в звезды.

Тормошили Толю Рыжбова, вальщика. Что за привычка у парней — скулить там, где надо посочувствовать или, в крайнем случае, помолчать. Толя получил из дома письмо. Он давно не получал писем. От жены. И вот привезли это, написанное мужским почерком: «Писем не пиши, мы поженились и счастливы». В тайге лучше не получать таких писем. А парни:

— Слушай, Толя. Ты этому кенту телеграмму отправь. Поздравительную.

Толя человек веселый, Толя не сердится.

— Рядовой Рыжбов, — говорит он, — остался ни при чем. Что здесь особенного?

К костру по просеке кто-то подходил. Узнали Лешу Юревича, он уезжал за горючим. А еще — кто там? Еще?

— Галка! — Миша поднялся, пошел навстречу. — Точно! Явилась?

— Явилась, — отвечала Мишина жена.

— Почему пешком?

— Машина села. Километров семь отсюда.

Закатили роскошный ужин. Стол был заставлен картошкой, капустой и консервами двух сортов. За ужином Николай Юдин, бригадир, произнес:

— Вот это я понимаю, вся семья Филипповых в сборе.

Галя через два месяца должна была родить.

Назавтра она стирала на всю бригаду, готовила обед, ужин, и так две недели, пока они не вышли к Толстому мысу.

Это был знаменитый вечер. Вдруг из своих чащоб они услышали стук «пээски», увидели редкие огни, серую равнинность Ангары.

Усть-Илим! Прораб Сопрыкин Олег Викторович обещал шумные восторги и шампанское. Миша въехал в палаточный городок первый. Всей семьей. Вышли ребята, кричали, какой-то чудак палил в воздух из двустволки.

Шампанского не было.

Усть-Илим

Последние страницы



Как там наши акации?

Мимо нашей школы проходит Московский тракт, а дальше за Нижней улицей, за огородами, за лугом — железная дорога. Десять лет назад, когда мы отсиживали свои последние уроки, машины по тракту шли реже, а составы на подъеме против больницы ползли медленно с неровным стуком. Теперь без машины не обходится ни одной минуты, а поезда летят легко между серыми опорами электросети. Прогресс. Технический прогресс.

Акации, которые мы сажали десять лет назад, теперь выросли, шумят между школой и трактом, и дождь смывает с них дорожную пыль. А наша школа, деревянная, двухэтажная, все та же, разве перекрашенная и в который раз отремонтированная.

Июньским утром после выпускного бала, мы высыпали на улицу как-то вдруг и все разом. Ночью мы выпивали со своими учителями, много торжественно курили, танцевали и подрались, и признались в любви, и прохвастались, кто куда и зачем уезжает — и вдруг, конечно, уж по какому-то сигналу, — все вышли на улицу. Солнце еще не взошло, на лугу за Нижней улицей белел туман, мимо школы по тракту старик Камашин, угрюмый пастух, гнал свое стадо. И мы, сонные, куражливые, в белых рубахах, в новых шевиотовых костюмчиках, оказались вдруг по-

среди стада. Коровы стали разбредаться, Камашин защелкал кнутом; нас это происшествие рассмешило, сонливость, помню, прошла, мы погуляли по улице, потом разошлись, а через месяц-другой разъехались, и многие из нас никогда уже не возвращались в село под названием Кутулик.

Мы не сбежали, не дезертировали. Просто все десять лет, пока мы учились в школе, мы собирались уехать из нашего поселка. К этому готовили нас история и география, физика и литература. Физика манила нас в города, география подбивала на бродяжничество, литература, как полагается, звала к подвигам. Подвигов мы не совершили, но, кому удалось, побродяжили, служили в армии, учились в институтах, стали строителями, учителями, пилотами, буровыми мастерами, офицерами. Мы работали, переженились, росли на производстве, проштрафились, остепенились, повысили квалификацию — чего только не случилось с тех пор, как мы закончили школу. Не так уж далеко от Кутулика за это время выросли города юности — Усолье, Ангарск, Братск, Шелехов, Байкальск. В этих городах мы и живем, а еще — в Новосибирске, в Москве, в Бодайбо, а кое-кто даже в городе Брагине. О старом добром Кутулике мы вспоминаем вдруг, нечаянно, столкнувшись друг с другом где-нибудь на углу или на вокзале. Например, на Тверском бульваре в кафе «Эльбрус». Командированные один из Братска, другой из Усолья, сидят два кутуликских парня, беседуют. Оба не были в Кутулике лет пять, но характер разговора чисто светский.

— Нинку Иванову знаешь?
— Ну, ну?
— Вышла замуж.
— Что ты говоришь!
— Серьезно.

Так нам становится известно, что Нинка вышла замуж, что старик Камашин умер, что закрыли газету и открыли парикмахерскую, что начали строить новый клуб, что речка высохла, а степь за школой распахали до самого леса. Из газет мы узнаем, что наш хлебный район снова выполнил план хлебозаготовок.

Первые годы мы появлялись здесь чаще, приезжали летом на каникулы, в отпуск, собирались иногда по нескольку человек. Тогда с неисправимым самодовольством носили мы по родному селу какой-нибудь обыкновенный гэвээфовский кивер, какие-нибудь погоны или просто рубаху в клеточку. В клубе танцевали по-новому, танго и фокстроты; именно мы привезли сюда узкие штаны, привычку курить сигареты вместо папирос, роковые романсы Лещенко, светлые кепи, словом, весь этот брючно-танцевальный ренессанс. Не думаю, что манеры, завезенные нами из города, обновили жизнь нашего поселка.

Съезжаясь в Кутулике, мы всегда много и охотно дурачились. Слесарь, курсант летного училища, студент первого курса, собравшись вместе, не прочь, например, забраться в чужой огород за огурцами, подпереть чью-то дверь, вечером перекатить телегу с картошкой из одного двора в другой и еще что-нибудь в этом жанре. Если я не ошибаюсь, валять дурака вообще было излюбленным на-

шим развлечением, в этом есть, я бы сказал, даже особый какой-то кутуликский стиль, какая-то традиция, своя какая-то поэзия. Послушайте нас, когда мы вспоминаем наш Кутулик, послушайте наши разговоры. Какое удовольствие, например, доставит истинному кутуликчанину воспоминание о том, как однажды с друзьями-приятелями он усыпил два десятка кур, разложив их рядком через весь двор, а потом, постучавшись к хозяину, прятался в полыни. Усыпление проделывалось следующим образом: куриная голова пряталась под крыло, а затем бедную птицу крутили некоторое время в воздухе. Лишь через пять минут после описанной процедуры курица освобождала голову, поднималась и ковыляла по двору, точно пьяная. Лунной ночью, поднятый с постели, изумленный хозяин наблюдал, как его куры одна за другой воскресают из мертвых.

Я понимаю восторг, ужас и счастье двенадцатилетнего пацана, когда он, побросав наворованные огурцы, скрывается от погони, несется, исчезает в темную ночь. Но двадцатилетний курсант, бегущий из чужого огорода, — явление не только ненормальное и антиобщественное, но и загадочное явление. В самом деле, что это? Столь долгое детство? Может быть. Вполне может быть. Детство, проведенное в Кутулике, проходит не скоро. Во всяком случае шутку с курами мог придумать, пожалуй, человек, взбесившийся от скуки.

Родители тянутся вслед за детьми. Ближе к детям. В города юности. Поезда, в которых мы носимся по своим делам, в Кутулике

почему-то не останавливаются. Мы стоим у окна — не чужие все-таки. Из вагона наш поселок — растянулся вдоль речки — как на ладони. Элеватор, на горке в сосновом лесу РТС, обмелевший пруд, переделанный из церкви кинотеатр «Звезда», синий домик почты, двухэтажная агрошкола, клуб, райисполком, школьный сад... В эти пять минут, пока поезд проносит нас мимо, мы, как полагается, взгрустнем, вспомним друзей, рыбалку, футбол и наши туманные первые романы. Мы долго смотрим на школу и даже вытянем шею: как там наши акации? Какие ученики сейчас у наших учителей? Если такие же оболтусы, какими были мы, значит, живется нашим учителям нелегко? Заметили вы, как со временем наши учителя вырастают в нашем сознании? В наших воспоминаниях они становятся все лучше и лучше, не правда ли? То же и мы для них. «Вы? — сказала мне недавно одна из моих прежних учителей.— Какое сравнение! Вы были ангелами...» Итак — Нижняя улица, огороды, огороды, а вот и крайний домик, где со своей многочисленной семьей живет немой Сережа. Все знакомо. До последней жердочки. Все постарому. Заброшенная каменоломня, Маров лог, Каменный ложок, блокпост... Проехали. Кутулик не стал городом юности, не стал избранником времени, как Ангарск или Шелехов. Как-то геологи искали здесь нефть, но не нашли и съехали в новое место. И на секунду у нас появится, может быть, настроение, похожее на чувство вины. А в чем мы виноваты?

В Черемхово в вагон входит землячок, и

начинаются воспоминания о том, какому испытанию подвергли мы однажды старушку Марову, выясняя, глухая ли она в самом деле или все прикидывается.

Недавно я бродил по нашему поселку, смотрел, узнавал, раздумывал, старался понять, что произошло здесь в мое отсутствие. Новости я услышал еще на станции. Выстроен новый клуб, строится несколько двухэтажных жилых домов, открыли газету...

Знакомых я встретил немного. Одноклассников — никого, кроме одного пилота, который заехал сюда на собственной машине с женой и дочкой — в отпуск, навестить мать. Друзей из тех, с кем учился в школе в одно или приблизительно в одно время, повидал двоих. Эти двое здесь живут. Один работает в клубе, другой — лесозаготовитель. Признаться, в Кутулике они остались не из патриотизма, не из горячего желания, а в силу некоторых обстоятельств и определенных свойств собственного характера. Не то чтобы они неудачники или считают себя таковыми, нет. Но кругом думают, да и сами они сознают, что они тут застряли, так сказать, упустили возможности.

Они странным образом сохранили в себе любовь к анекдотическим выходкам, к тридцати годам причудливо донесли привязанность к шалостям, которые так уместны в четырнадцать лет и так рискованны в двадцать восемь. Один из них, разумеется не без юмора, сказал мне, показывая на саженцы тополей, выстроившиеся вдоль главной улицы: «Вот, парень, хорошее дело. Вырастут тополя — пригодятся. Идешь по улице, на-

встречу кредитор — раз, встал за дерево. Идешь дальше — другой. Раз! Снова за дерево».

Итак, детство наше продолжается.

Новый клуб — это, несомненно, событие. Клуб в райцентре — средоточие интеллектуальной жизни, что ни говорите. На месте нового я помню старый, бревенчатый. Послевоенный. Тот, с кинокартинами по частям, с могучими докладами, с вдовами, с чечеткой, с драками и неминуемым вальсом «На сопках Маньчжурии», исполняемым баянистом Семененко. Потом — наш клуб, с духовым оркестром, с драмкружком и полонезом Огинского, а позже — с блюдами по щербатому полу. Помню, как всегда и неудержимо нас тянуло в клуб, какими необыкновенными людьми мы считали всех баянистов и худруков, которые менялись тогда чаще, чем времена года. Это были бедовые ребята. Они приезжали в Кутулик на товарных поездах, ослепляли публику невиданной галантностью, неслыханной игрой на баяне, сатирическими куплетами, пропивали иногда часть реквизита и исчезали, как в сказке.

Новый — каменный, вместительный, с роскошным фойе и хорошим зрительным залом. В такое помещение сейчас не постеснялся бы въехать московский театр «Современник». Но помещение — только декорации, в которых должен произойти спектакль, так сказать, прекрасный, но еще необжитый остров. Работа, кажется, понемногу начинается, но пока в новом клубе довольно тихо.

Вот мы сидим в пустом новом клубе, одноклассник-пилот, два приятеля, я и слу-

чившийся тут на каникулах незнакомый мне студент-медик. Десять лет назад пилот играл здесь в духовом оркестре, и тот из моих друзей, что работает в клубе, принес пилоту «тенор», сам взял трубу, вдвоем они сыграли «краковяк», какой-то бравурный марш и похоронный — ради шутки. Студент-медик поиграл на пианино и пропел несколько песенок Окуджавы. Он, хотя и не грубо, но явно щеголял здесь этими песенками. Я спросил его, что сейчас поделывают бывшие его одноклассники. Он ответил, что работают, учатся, почти все разъехались.

Недавно райком комсомола организовал мероприятие, полное надежд и устремления в будущее. В Кутулик приезжал декан сельхозинститута и прямо здесь вместе с местными учителями принимал вступительные экзамены. Что и говорить, тут, в районе, молодые, умелые и современные, в лучшем понимании этого слова, молодые люди нужны так же, как нужны они в городах юности. Район не производит угля, электричества, но он производит хлеб, и хлеба этого ради существует поселок Кутулик.

Уезжая, я думаю о своих школьных друзьях. О тех, кому сейчас под тридцать, кому поручаются сейчас важные, а через день-два будут поручены еще более важные дела. Думаю о тех, кто навсегда по-сыновнему связан с этой скромной судьбой под названием районный центр. Мысленно я обращаюсь к ним:

— Вот как там, мальчики, наши акации?

27 июля 1965 г.

Киносценарий[1]

Баргузин

Вместо эпиграфа
Директору Восточно-Сибирской студии кинохроники
т. Ягудину
Гл. редактору *тов. Лапину*

На обсуждении второго варианта нашего сценария «Баргузин» раздавались голоса о том, что и в таком виде сценарий может послужить основой фильма. Однако все же творческий актив рекомендовал написать новый вариант, в котором были бы более спаяны драматургический прием и материал.

Первоначально мы согласились написать третий вариант сценария к 9 марта, однако в процессе работы пришли к убеждению, что проделать это невозможно, так как это означало бы притягивание фактов к внесенному нами в материал «ходу» и, в конечном счете, к весьма нежелательным натяжкам, отчего и сценарий и фильм не стали бы лучше.

Если сценарий все же не может быть принят в таком виде, просим расторгнуть с нами договор ввиду неприемлемости для авторов рекомендаций студии.

А. Вампилов, В. Шугаев. 10 марта 1966г.

Байкал еще спокоен и лишь слегка покачивает лодки, приплывшие с берега за уловом. Но по торопливости движений, которыми выбирают сети рыбаки, по нахмуренным, сосредоточенным лицам, по тревожному взгляду, брошенному одним из рыбаков в сторону залива, видно, что надо спешить.

И вот над Байкалом возникает ветер. Крепчая, он срывает красные от рассветного солнца гребешки волн.

---

[1] Написан в соавторстве с В. Шугаевым.

Рыбацкие лодки торопятся к берегу по темно-малиновым дорожкам.

Ветер громко стреляет по брезенту рыбацких плащей, по смолевым щекам баркасов, гонит радужные валы по Баргузинскому заливу.

Холодной ладонью гладит зеленый горб Святого Носа.

Ветер несется над таежным безлюдьем, рвет туман над просыпающейся долиной.

Долина выглядит пустынной, кажется, что нет иного живого существа здесь, кроме ветра. И он, упоенный собственным всесилием, небрежничает, посвистывает над сопками, курганами, ручьями, кедрами.

Ветер треплет зеленую прическу сосны, стоящей на песчаном кургане. У сосны стоит крепкий седой старик, внизу у кургана пасется табун, рядом бродит оседланная лошадь.

Налетевший ветер на мгновение заставил его закрыть глаза, но потом, сощурившись, он стал пристально вглядываться в даль. На ветру из глаз его выступили слезы, а под жидкими седыми усами неожиданно появилась добрая мудрая улыбка. И странное это сочетание — слезы и улыбка — заставляют нас думать о том, что в эту минуту мысли старого табунщика возвращаются в прошлое и забегают в будущее.

Над его головой, над долиной плавно кружит коршун. Старик закидывает седую голову и долго следит за парящей в ясном небе птицей: коршуну так вольно над ветром и над землей. Старик не может оторвать глаз от этого полета, он о чем-то горестно взды-

хает — острый кадык проскальзывает на жилистой шее. Видимо, старик завидует коршуну: ему бы такие глаза да такую высоту, чтоб оттуда посмотреть на землю родной долины. Старик следит и следит за коршуном.

И вот ему кажется, что он парит рядом с птицей, и с высоты этого полета ему представляется синяя лента Баргузина, скалы, зеленые поймы, серебряное мерцание ветел, шевелящаяся на ветру тайга.

Старик что-то шепчет, наверное в тысячный раз восхищаясь землей отцов. Он долго жил, много видел, а еще больше слышал. И обостренная высотой память приобщает его к дням минувшим и нынешним.

Он видит полоску земли с побуревшим крестом, под которым лежит Кюхельбекер, с Сенатской площади попавший в песок Баргузина; да будет свободна эта земля! И над могилой — трепещущий от ветра рябиновый куст.

Старик видит сырую ветреную ночь над Баргузином, слышит скрип дверей в домах сбежавших богатеев, видит отсвет пламени в стеклянных глазницах окон. А потом — в высокое небо уходит обелиск.

Скупая, выцветшая от времени надпись. Память павшим в годы гражданской войны. Здесь всегда венки. Летом — цветы, зимой — кедровые ветки. Зимой — ветки, летом — цветы.

Цветы — ветки, зима — лето... Эти кадры сменяются несколько раз. Так в представлении старика проходят годы, прожитые им годы.

...Над долиной — облака. Подчиняясь вет-

ру, несутся белыми птицами, чтобы открыть вдруг маленькое желтое солнце в выстывшем зимнем небе.

Солнце как раз над любимым курганом старика Домбаева, и сам он снова здесь.

На сосне снежная шапка раскачивается, вот-вот упадет.

Робкая тропка в снегу и белая пыль поземки.

Старик поглубже надвинул малахай, набил трубку, закурил. Он задумчив и торжествен. Он вглядывается в белое лицо долины, и мысли переносят его к рыбацким кострам на байкальском льду...

В голубой белизне чернеют проруби, лошади с мохнатыми от инея мордами, нахохлившиеся черные сугробы — люди. Идет подледный лов.

Каждый раз, когда он приходит на этот курган, перед его мысленным взором возникает лик родного края, картины тех мест, где прошла его жизнь. В молодости чересчур любишь себя, и только к старости не дает покоя земля. И мучишься от горькой, прекрасной и неизбывной любви к ней.

Рушатся сосны — бронзовые купальщики — в синеватые волны снега.

Озабоченные, разгоряченные работой лица лесорубов. Надо уметь валить сосны на ветру. Звучит высокая, неровная мелодия бензопил, черные жуки — трактора увозят смуглые тела заснувших деревьев, лесовозы рычат на нелегких таежных подъемах — идет рабочая смена в леспромхозе под Курумканом.

Вечером те же лесорубы в леспромхозовском клубе смотрят концерт художественной

самодеятельности, те же лица, но веселые, беззаботные.

Лица людей разных национальностей.

А вот — едва приметная в сугробах нитка соболиного следа, через завалы, через увалы, все вверх по хребту.

Эх, сбросить бы пару десятков, тогда не отстал бы от этого парня в лисьей шапке, и соболь бы от него никуда не ушел.

А этот, возвращающийся из тайги с хорошей добычей! Не он ли, не такие ли, как он, старики научили его добывать белку.

Приемный пункт, груды серебристого меха. Почти безучастное, но все-таки неуловимо самодовольное лицо охотника — рекордсмена и строгое лицо заготовителя.

Э-эх! Старик мечтательно и грустно щурится, вздыхает, тень улыбки появилась было под усами, да разве вернешь годы? Трубка погасла. Холодно... Старик поворачивается и медленно спускается с кургана, свистящая поземка торопится заметать следы.

Метет поземка. Качается черный куст. Метет по ослепительно белому снегу... Снег блестящий и заледенелый, мартовский. Качается черный куст...

Снег тусклый, ноздреватый, апрельский. Черный куст качается на ветру...

И вот ломаются льдины, шумят первые ручьи.

На кургане — молодая трава, на сосне — желудевой яркости кора.

На этот раз старик Домбаев решил взять с собой внука, чьи глаза удивлены, радостны и темны, как переспелые сливы. Два крылышка пионерского галстука горят на весеннем

ветру. Дед и внук поднимаются на курган.

Они подходят к сосне, и старик, обняв внука за плечи, вскидывает другую руку в щедром, дарящем жесте. Как неутомима эта рука! Смотри, внук, смотри и — принимай!

Разве все это не принадлежит тебе! Разве не ты будущий хозяин этой быстрой реки, цветущих лугов, тайги, гудящей на ветру? Смотри, внук, смотри и выбирай дело по вкусу.

Вот пашни, которые засевают сейчас хлеборобы, может быть, твои будущие друзья и наставники...

Вот отары овец, пасущиеся по сочным склонам, за ними нужен глаз да глаз — обрати внимание...

Вот Баянгольские фермы, где за коровами ходят вчерашние школьники — сегодняшние мастера-животноводы...

А вот табун. Он пасется на заливных лугах, потому что есть у нас и заливные луга. Смотри, это очень красиво, когда лошади пасутся на лугу, когда отставший от табуна жеребенок, как ветер, несется по зеленой земле.

А? Что ты скажешь?..

Прошлое и будущее, дед и внук смотрят на родную долину с песчаного кургана, где вдвоем они стоят на ветру, название которого — баргузин!

И упрямствует ветер в долине Баргузина, и уплывает под его натиском, как корабль, старый курган с сосной на вершине. И все дальше и дальше от нас старый Домбаев, его внук с огненными крылышками на плечах.

Ноябрь 1965 — январь 1966 г.

Прогулки по Кутулику

Прогулка первая. Сентиментальная

В Кутулике, возможно, вы никогда не бывали, но из окна вагона вы видели его наверняка. Если вы едете на запад, через полчаса после Черемхово справа вы увидите гладкую, выжженную солнцем гору, а под ней небольшое чахлое болотце; потом на горе появится автомобильная дорога и на той стороне дороги — березы, несколько их мелькнет и перед самым вагонным окном, и болотце сделается узким лужком, разрисованным руслом высыхающей речки. От дороги гора отойдет дальше, снизится и превратится в сосновый лес, темной стеной стоящий в километре от железной дороги. И тогда вы увидите Кутулик: на пригорке старые избы с огородами, выше — новый забор с будкой посредине — стадион, старую школу, выглядывающую из акаций, горстку берез и сосен за серым забором — сад, за ним — несколько новых деревянных домов в два этажа, потом снова два двухэтажных дома, каменных, побеленных, возвышающихся над избами и выделяющихся среди них своей белизной,— райком и Дом культуры, потом — чайная, одноэтажная, но тоже белая и потому хорошо видимая издалека.

Что дальше? Мосты, переулки, бегущие

вниз с пригорка: Больничный, Цыганский, Косой; улица Первомайская у блокпоста, выходящая прямо к полотну; еще два-три заметных строения — каменные и побеленные — комбинат бытового обслуживания и церковь, переоборудованная в кинотеатр. Дальше — Бараба: избы, палисадники, огороды. И вот уже снова сосновый лес и автомобильная дорога, та самая, которую мы видели перед Кутуликом, — Московский тракт.

Таков внешний вид Кутулика и, если добавить сюда то, что по дороге останется от вас по левую руку: лес, а в нем островками строения — больница, Заготскот, нефтебаза и станция, — портрет выйдет достаточно определенный, и в нем, думаю я, без особого труда можно различить лицо райцентра. Деревянный, пыльный, с огородами, со стадом частных коров, но с гостиницей, милицией и стадионом, Кутулик от деревни отстал и к городу не пристал. Словом, райцентр с головы до пят.

Райцентр, похожий на все райцентры России, но на всю Россию все-таки один-единственный.

В Кутулике у меня прошли детство и школьные годы.

Вышло так, что давно уж я здесь не живу, а приезжаю сюда, получается, редко и ненадолго. Вот и сейчас: не был три года, а приехал на неделю.

После школы, помню, уезжал я без сожаления, рвался в город, но все же, когда был студентом, приезжал сюда чаще — каждое лето. Затем друзей и знакомых я находил здесь все меньше и меньше, почти все мои

сверстники давно разъехались по городам, иные, что постарше или помоложе, меня уже забыли, иные сами изменились до неузнаваемости, и вот уже поневоле я чувствую и сознаю здесь свое одиночество.

Но, отдаляясь, не чаще ли я стал возвращаться сюда в своих мыслях?

Я вылез из кабины попутной машины возле школьного сада, прямо против своего бывшего дома. Было шесть вечера, еще жарко, но на траве уже не так, как в машине и на тракте. Через старые ворота я вошел в большой двор, по углам которого стояло четыре дома. Двор был пуст, только куры копошились в дальнем его углу и у крыльца с перилами мотоцикл мерцал на солнце бежевыми крыльями и тусклыми от пыли ободами. Этот двор назывался «школьная ограда», а в домах, где в каждом было по два, по три крыльца и постольку же квартир, всегда жили учителя, истопники и уборщицы.

Еще из нашей машины я заметил, что огород у нашего дома разгорожен и растет в нем, как мне показалось, лишь пырей и крапива. Так оно и было. Но из машины я не заметил главного: двери и окна были заколочены. В доме никто не жил.

Я к нему подошел, на крайнем окне доска была оторвана, из щели потянуло на меня осенним, почти лесным запахом плесени. Я зашел с другой стороны, со стороны огорода, и остановился против своих окон. Здесь попрежнему стояла одна старая лиственница, и, помню я, от этого, от ее тени в одной из наших комнат всегда было немного темней. Лиственница жива, за нее все еще можно при-

вязать бельевую веревку, можно забраться по ней на крышу и серы, наверное, еще можно наковырять.

А барак и в самом деле отслужил свое. Построен он из толстых лиственничных бревен, но так давно, что не только бревна прогнили, но прогнила уже и тесовая обшивка, сделанная много позже. Правда, обшивка вся уже рассыпается и внизу, и вверху, а бревна гнилые только внизу, у земли, а наверху они еще хоть куда, ядреные и годные, пожалуй, и для новой постройки. Когда-то в этом бараке был пересыльный пункт, и здесь ночевали этапные по дороге в Александровский централ. Значит, в этом доме у них был один из последних ночлегов в пути.

Нет, никаких решеток и даже следов от них я никогда не видел. Видимо, был в свое время барак переоборудован, я помню его уже покрытым тесом и крашенным в цвет желтых березовых листьев. На моей памяти в нем всегда жили учителя.

Я представил себе летний вечер, каким он был здесь лет двадцать назад: открытые настежь окна, в доме движение и голоса, горшки гераней, выставленные на завалинку, большую огуречную гряду, маки, подсолнухи в дальнем конце огорода, изгородь из осиновых тычек, в воздухе видимое глазами струящееся от нагретой изгороди тепло и жужжанье пчел.

Сейчас я стоял как раз на том месте, где в это время мы разводили тогда небольшой огонек. На солнце он был бледный и, если не было дыму, с другого конца огорода его можно было и не разглядеть. Из кирпичей была

устроена простенькая тяга, и ужин готовился тут, чтобы ночью в комнатах не было жарко, и дров сюда надо было меньше, хватало щепок, которые мы, ребятишки, собирали у новой в те времена школы. Из комнат слышен был голос матери, по-учительски громкий и отчетливый, или репродуктор, круглый, черный, из огорода казавшийся дырой в белой стене, распевал: «Где ж вы, где ж вы, очи карие...»

А сейчас окна заколочены, и от них меня отделяет густая метровая крапива. Можно было обойти ее, оторвать от окна пару досок и заглянуть внутрь, но мне не захотелось. Я снова вышел в большой двор и уселся там на скамейке соседнего дома. Захотелось увидеть кого-нибудь из знакомых, но я решил никуда не заходить, а подождать, когда кто-нибудь появится.

Долго никого не было. Прошел поезд, из школьного сада налетел ветерок, дохнул черемухой и исчез. Отсюда была видна дальняя Берестенниковская гора, по ней, как струйка желтого дыма, поднималась к горизонту дорога. Ее вид взволновал меня, как в детстве, когда эта дорога казалась мне бесконечной и обещала множество чудес. Передо мной, за железной дорогой тянулась другая гора, Иванова, сплошь укрытая сосной и березой. Продолговатые рябые облака стояли над ней высоко и неподвижно.

Все кругом было настолько привычно, что мне на мгновенье показалось, что я вовсе отсюда не уезжал.

Нет, что и говорить, нигде на свете небо не бывает таким ясным, и нигде, если долгая

непогода, оно не томит так своей безысходностью. Травы пахнут здесь сильней, чем где-либо, и нигде и никогда я не видел дороги заманчивей этой вот, что по дальней горе вьется среди берез и пашен.

В газетах да и в журналах мне попадались стихотворные и прозаические высказывания о том, что землю можно любить всю сразу от Карельского перешейка до Курильской гряды, все реки, леса, тундры, города и деревни будто бы возможно любить одинаково. Тут, как мне кажется, что-то не то. Как, например, мне любить Курильскую гряду, если я ее никогда не видел?

Наконец скрипнула дверь, из соседнего дома вышла маленькая черноволосая женщина с ведром в руке. Я узнал ее сразу, поднялся и пошел к ней навстречу. Это была тетя Зина, давнишняя школьная уборщица. Я рос на ее глазах, мы рядом жили. Она заметила, что я к ней иду, остановилась и, заслонясь от солнца ладонью, смотрела на меня. Мне показалось, что она совсем не изменилась, а когда я видел ее последний раз — лет семь назад или десять? «А,— сказала она и назвала меня именем моего брата, хотя, я думаю, она меня узнала, а спутала лишь имена, — давно приехал?» Она говорила, слегка подергивая головой, — это у нее всегда было, — быстро и таким тоном, как будто мы с ней виделись не далее, как вчера. Вблизи я разглядел: нет, сильно постарела, конечно, постарела. Да ведь и лет ей сейчас много, пожалуй. Мы успели сказать всего несколько слов, когда на тракте вдруг раздался грохот.

Тетя Зина встрепенулась и, снова прикрыв ладонью глаза, стала смотреть на ворота. Я оглянулся и увидел, как с мягкой дороги, расплескивая воду, на тракт въехала водовозная бочка. Тащила ее понурая клячонка, а впереди, задом едва касаясь бочки, мостился старик-водовоз. Бочка загремела по тракту дальше, в ограду не заехала.

«Куда это он? — заволновалась тетя Зина. — Куда он, черт полосатый?»

Я хотел возобновить разговор, но из этого мало что выходило. Бочка с водой не шла у нее из головы. Я сказал ей, что, дескать, я пока пошел, что буду еще здесь и, стало быть, еще увидимся. И направился в школу. Тетя Зина успела мне сказать, что там сейчас идут последние экзамены.

Прогулка вторая. По асфальту

Кутулик подрос и похорошел. Появилась совсем новая улица, за школьным садом достраивается несколько двухэтажных жилых домов. За райкомом разбили новый сквер, у стадиона — сквер, на главной улице подрастают молодые тополя. Вырастить их было непросто, тополя высаживались здесь много раз, и много раз ничего не выходило. То стадо их вытаптывало, то козы уничтожали, то еще что-нибудь с ними случалось. Вообще-то в сибирских селах нет привычки сажать деревья на улицах. Объясняется это отчасти тем, что поначалу сибирские деревни со всех сторон окружены были лесом, — какие еще нужны были деревья? Избы украшались

лишь небольшими палисадниками с черемухой, рябиной, кустами малины, и было хорошо. Но впоследствии, когда лес вокруг постепенно был вырублен и на его месте появились поля и поскотины, села обнажились, и вид их сделался и унылым, и легкомысленным каким-то. Палисадники с кустарниками уже не спасают эти села ни от пыли, ни от беспризорности вида.

Итак, в Кутулике зашумели тополя. Тут же, на главной улице, произошла перемена, которой кутуликчане придают немалое значение. Старые тротуары исчезли, и заменил их асфальт, этот пресловутый синоним всего городского, этот первейший признак сближения города и деревни. По мне хороший деревянный тротуар лучше, но в Кутулике тротуар был старый, часто прерывался, асфальт к тому же практичнее, так что... Словом, асфальт так асфальт, не в этом дело.

Сегодня суббота, прохожие, как я замечаю, одеты чисто, нарядно. Все девушки модницы. Да что девушки, а парни? Они одеты в белые рубахи и в эти свои повсеместные испанские штаны с широченной опушкой, узкие в коленях и разогнанные книзу до ширины флотских брюк. Когда несколько таких ребят молча стоят где-нибудь возле чайной, то кажется, что они собрались сюда, чтобы сплясать болеро, и ждут только, когда ударят кастаньеты и гитара. Гитара, впрочем, тут, при них, но носят они ее с собой больше для антуражу или для того, чтобы, копируя нынешних менестрелей, которые поют теперь по радио, стучать пятерней по неизменным трем аккордам. «Парня в горы зови, тяни... там

поймешь, кто такой». Словом, парни модники, как везде сейчас. Волосы они здесь, правда, еще не красят, но, кто знает, и это, быть может, привьется впоследствии. Надо заметить, что ребята эти не бездельники какие-нибудь, а служащие, десятиклассники, студенты на каникулах, механизаторы даже. Теперь мода такая, и они, так сказать, на уровне.

В этот день испанские штаны небольшими группами шествовали по направлению к стадиону. Оказывается, там второй день шли районные футбольные состязания.

Стадион, теперь огороженный, с приличным полем, со скамейками для зрителей, в былые времена был горбатым пустырем с одними лишь футбольными воротами. И на этом пустыре, помню, несколько лет подряд сражались одни и те же, единственные в районе команды Кутулика и шахтерского поселка Забитуй. Спортивной организации в Кутулике тогда еще не существовало, почти все игроки учились в средней школе; то же и забитуйцы, которые, бывало, добирались до места встречи на попутных машинах, пешком, а то и на товарных поездах. Поезда в те времена таскали паровозы, и на подъеме, где они замедляли ход, футбольная команда десантом высаживалась в Кутулике. Играли, бывало, часами, до изнеможения, до темноты. Ну, вот, например, победоносная поездка кутуликской команды в Зиму. В двух словах, было так. Один зиминский парнишка, который случайно оказался в Кутулике, посмотрел, как пинают мяч кутуликские форварды, попинал вместе с ними, а потом от собственного имени

предложил им встречу на зиминском поле. Предложение было принято, и назавтра кутуличане сели в поезд и отправились добывать себе спортивную славу в Зиму, за девяносто километров. Ехали они без билета, и всю дорогу до самой Зимы команда вместо разминки бегала от контролеров по вагонам и по крышам вагонов. Тот парнишка исправно ждал их в Зиме на станции, матч состоялся, и кутуликчане выиграли.

Позже появились спортивное общество, спортивные деятели, бутсы, и команда стала разъезжать на машинах. Но в районе все так же было две команды.

Я вошел на стадион и удивился. Никогда я не видел здесь столько болельщиков и никак не думал, что в Кутулике столько почитателей футбола. Они заняли небольшую трибунку, все скамейки, сидели на траве, на заборе, тучами стояли за воротами. Их было много, но еще больше меня поразило количество футболистов. По всем углам стадиона, вдоль заборов они стояли тут табор к табору, отделяясь друг от друга лишь цветом маек: сиреневые, белые, красные, желтые и т. д. Мне кажется, их было больше, чем болельщиков.

На районные соревнования съехалось что-то около пятнадцати команд, а игры продолжались три дня. Команды прибыли чуть ли не из каждого колхоза.

На поле шла игра, и, надо заметить, весьма приличная игра. Сражались две колхозные команды. Команде, которая когда-то ездила в Зиму, такая игра и во сне не снилась. Я прислушался к разговорам болель-

щиков, разговоры оказались квалифицированные, с упоминанием новейших тактик, Сандерленда, Эйсебио. Положительно, в Кутулик пришла золотая футбольная эра.

Но тут я вспомнил городские футбольные ажиотажи, ночные бдения у телевизоров, москвичей, которые по вечерам собираются у стен стадиона «Динамо» и, сбившись в кучу, до поздней ночи, а то и до утра, гудят, как отроившийся улей. Да, да, я вспомнил этих полупомешанных и от удивления перешел к размышлению.

В Кутулике теперь тоже смотрят телевизор, а значит, видели и Милан, и Сандерленд и тоже, стало быть, на уровне. Телевизоров здесь пока еще немного, но вот узнал я, что в районной библиотеке, например, установлен телевизор. Для общего пользования. Работники библиотеки не без удовольствия рассказывают, что в дни, когда передается футбольный матч, у них бывает много посетителей. Удовольствие библиотекарей напоминает мне удовольствие драматических актеров, концертирующих на своих подмостках с представлениями типа «Зримой песни». Увы, в Кутуликскую библиотеку в футбольные дни идут не читатели, но болельщики, ровно так же, как в драматический театр в дни «Зримой песни» устремляются отнюдь не почитатели драмы, но куда более многочисленные приверженцы эстрады и мюзикхолла.

А тут показали мне команду, которая в этом соревновании защищала честь самого Кутулика. Ребята все молодые, интересные, окружили какую-то девушку и беседуют с

нею все разом. Потом вижу — нет, не беседуют, а скорее спорят, горячатся, а весьма строгого вида девушка горячится тоже и отчаянно жестикулирует. Затем они по одному, по двое уходят куда-то с решительным видом. Один из них проходил мимо меня, и я видел, как он сплюнул даже, и слышал, как он весьма решительным образом выразился. А девушка все что-то доказывала тем, остальным. Я решил выяснить, в чем дело.

Строгого вида девушка оказалась секретарем райкома комсомола. Она уговаривала кутуликских футболистов принять участие в состязании. Они отказывались. Природа конфликта заключалась в том, что хозяева поля не получили денег, которые они хотели получить. Приезжим командам выдали деньги на пропитание в районной чайной, это понятно. Кутуликчане, проживая в самом Кутулике, столовались, естественно, дома. Но они тоже требовали деньги на пропитание. Это отдавало уже высоким футбольным классом. Хотя многие из них долго упорствовали, игра все-таки состоялась, хозяева поля проиграли и по всем правилам футбольной борьбы из дальнейших состязаний выбыли.

Болельщики, разумеется, были недовольны своей командой, но со стадиона не уходили. Были здесь и шум, и свист, и буфет с пивом, и конфликты разного рода — словом, все, что полагается. Был тут и фатальный, неизбежный почти в таких обстоятельствах дядя Вася, человек в суконных зимних ботинках, немолодой, небритый, нетрезвый, но существующий для увеселения публики. На беговую дорожку между полем и скамейками

он выходил, как на манеж. Раскачиваясь и спотыкаясь отчасти по естественным причинам, отчасти для того, чтобы нравиться публике, он комментировал матч, философствовал, сквернословил. Его выводили, но через некоторое время он появлялся снова. И публике он нравился, она его слушала и наблюдала за ним с удовольствием.

Кутулик на три дня погрузился в золотой футбольный бред, а финальная игра была назначена даже на четвертый день, на понедельник.

По вечерам после игр колхозные футболисты облачались в испанские штаны и большими компаниями бродили по главной улице.

Прогулка третья. Ночная

Новый Дом культуры — солидное каменное здание с большим залом, фойе, изрядным количеством комнат, в нем свободно поместился бы целый театр. Я отправился туда в первый же вечер и попал на концерт. Зал был набит битком. На сцене молодая, красиво одетая женщина исполняла народные песни. Аккомпанировали ей на баянах два парня. Пела она славно, а парни-аккомпаниаторы время от времени радостно улыбались. И я пожалел, что в эту минуту нет здесь со мной кого-нибудь чужого, нездешнего, кому я мог сейчас сказать: «Ну, каково у нас, в Кутулике?.. Вот так». Но человека такого рядом не было, и я молчал, полностью разделяя благоговейное внимание зрителей. Певица

спела на бис, раскланялась и удалилась. Потом вышел конферансье с довольно приличными манерами и объявил новую певицу с эстрадным квинтетом. «И квинтет имеется,— подумал я с удовольствием, — ничего себе, развернулись ребята».

И действительно, на сцене появились ребята, здоровые как на подбор и все с радостными улыбками. Неужели учителя, подумал я. Или агрономы? Они ударили какой-то мотив, и на сцену быстро вышла лет тридцати пяти певица, ярчайшая блондинка, полная, в коротком платье. Она с такой отвагой изображала семнадцатилетнюю девочку, что в голове у меня мелькнуло сомнение — кутуликская ли это программа? Квинтет прибавил духу — и понеслось.

— Гуси! Гуси! — вскрикивала певица, взмахивая полными белыми руками.

— Га! Га! Га! — откликался ей весь квинтет, радостно улыбаясь.

— Есть хотите? — спрашивала она у музыкантов лукавым голосом и оборачивалась к ним в этот момент.

— Да! Да! Да! — басили музыканты.

Нет, не Кутулик, подумал я, теперь уже с некоторым облегчением.

«Чей концерт?» — спросил я соседа. «Из Читы», — ответил он. Ага, подумал я, гастролеры. Песня мне показалась неоправданно длинной, давно уже все было ясно, а они все продолжали:

— Есть хотите?

— Конечно!

Действительно, это была разъездная читинская эстрада. Далее был жонглер, экви-

либристы, чтец-декламатор и прочее. Было тут и «парня в горы зови, тяни».

В Кутулике квинтета не оказалось. Оказались лишь танцы в фойе, радиола, баян. Больше ничего.

На танцы народу в клуб собирается немного, да и, правду сказать, танцы скучные. На баяне играет сам художественный руководитель Дома культуры, молодой симпатичный человек. Едва ли справедливо одного его упрекать в том, что в Кутулике нет квинтета, драмкружка и много другого, что могло бы быть при районном клубе. Но, по-моему, есть смысл привести здесь одно, как мне кажется, весьма характерное суждение молодого художественного руководителя. Появившись в Кутулике недавно и, очевидно, совершенно справедливо требуя для себя квартиру, он, как мне рассказали, в объяснениях с начальством нажимал главным образом на то обстоятельство, что не иметь в его положении квартиры несолидно. Как видите, обычные и печально однообразные в таком деле доводы «негде жить, невозможно работать» в данном случае уступили место аргументу новому, куда более «тонкому» и «возвышенному» — несолидно. Этот аргумент, если принять во внимание, что так много не хватает повсюду квартир, чтобы в них просто-напросто жить, аргумент с первого взгляда вроде бы комичный. Но, как подумаешь, смеяться, получается, тут вовсе нечему. Выходит, не смеяться надо, а даже наоборот — надо печалиться, что пришел такой аргумент в голову молодому симпатичному специалисту.

Но вернемся на танцы. Я думаю, что самые страстные поклонники танцев это как раз те, кто, присутствуя на танцах, в танцах не участвуют. Встретить их можно почти всюду, есть они и в Кутуликском клубе.

Ростом уже немаленькие, но по-детски еще худые и угловатые, они стоят у выхода из фойе, разговаривают между собой и занимаются как бы больше всего друг другом, своей компанией, тем самым явно выказывая равнодушие к танцам. Вы там, дескать, давайте, шаркайте, протирайте сколько влезет полы, они казенные, а мы тут малость постоим, поговорим, у нас дела поважнее. На самом деле не думают они ни о чем, кроме танцев, и ничего, кроме танцев, не видят. Взгляды, которые бросают они как бы вскользь на сидящих вдоль стены девчонок, выдают их с головы до пят. Воображение их кипит, нервы напряжены, в головах бродят угрюмые, недетские мысли. Драма, которую переживает эта компания, называется несовершеннолетие.

Бывают у них, наверное, и свои танцы — в школе, на именинах, но танцы в Доме культуры, о, это совсем другое. Это взрослые танцы. Здесь, в ярко освещенном зале, собрался народ разный: девчонки из сельхозучилища, юные, но уже довольно самостоятельные, в коротких юбках, вольно причесанные, сидящие вдоль зала чинно, неприступно, но, несомненно, — в ожидании интересных и значительных знакомств; молодые специалистки, модные, чуть чопорные, но полностью уже самостоятельные; две молодые женщины, заехавшие в Кутулик в гости: веселые, сво-

бодные, ярко накрашенные, в одинаковых белых юбках — уже окончательно самостоятельные, дачницы, как я их назвал про себя. Словом, здесь возможности, тайны, надежды и все, все, что так привлекает сюда этих ребят, смиренно толпящихся у входа. И если кто-нибудь самый отчаянный из них подойдет наконец к женщине и пригласит ее танцевать, и если она ему не откажет, как они будут ему завидовать и как будут скрывать свою зависть!

Они несколько раз куда-то исчезали, но к концу танцев снова собрались все у дверей. Танцевать никто из них так и не осмелился. А вот уже баянист оборвал вальс, поднялся и вдруг заиграл в бешеном темпе фокстрот «вышибаловку», как раньше тут говорили, — это означало, что танцы окончены. Подростки вышли первыми. Ну вот, подумал я, еще один вечер закончился для них разочарованием. Они, думал я, разошлись, и каждый свою тайную досаду несет сейчас домой, где родители, возможно, будут удивляться: где, интересно, сынок так долго проходил и почему он вернулся такой злой? Так думал я, но, увы, заблуждался.

Было темно, духота не проходила, и чувствовалось, что облака над головой низкие и тяжелые. Собирался дождь. Я шел в гостиницу, передо мной в темноте шли две девушки в большой компании парней. В девушках по белеющим в темноте юбкам я опознал «дачниц», парни были скрыты мраком ночи. Невольно я слышал их разговоры. Судя по разговорам, молодые люди еще не были с девушками знакомы. Однако беседу они затея-

ли такую непринужденную, что бойкие дачницы, чувствую, дрогнули и смутились. В выражениях ребята не стесняли себя совершенно. Их виды на ближайшее будущее оказались настолько дерзкими и высказаны были так прямолинейно, что девушки замолчали и прибавили шагу. Они явно побаивались. Парни не отставали.

В это время компания оказалась под фонарем, который сиротливо покачивался на столбе против отделения милиции. Девчонки пробежали бегом, парни под фонарем остановились, и неожиданно я узнал в них тех самых подростков, которые все танцы смирно простояли у дверей.

Да, по домам они не разошлись, и переживания, которые я приписывал им в своих мыслях, на самом деле были не такими уж страшными и вовсе не тайными. Я думал об одних, эти оказались другими. Словом, драмы не вышло, вышел фарс да и при том весьма скверный.

Я узнал, что по ночам здесь иногда пошаливают, нет-нет да кого-нибудь ограбят, а из разговоров с работниками милиции, суда и прокуратуры выяснилось, что изрядную часть хлопот суду и милиции создают молодые люди, в особенности лица рождения пятидесятого — пятьдесят четвертого годов.

При сем обращает на себя внимание то обстоятельство, что участились случаи преступлений, совершаемых без явных на то мотивов. То есть бывает так, что воруют, например, не с целью наживы и обогащения, но больше как бы для развлечения, а хулиганят порой как-то особенно бессмысленно. Иные

проступки не сразу объяснишь, и бывает, что они с трудом поддаются определению суда. В моем блокноте есть такие факты.

Здесь нашумело дело о хулиганстве, бесчинстве и воровстве, учиненных пятью черемховскими школьниками в деревне Табарсук, что находится неподалеку от Кутулика. Вот это дело вкратце. В ночь под новый, 1968 год два пятиклассника, два семиклассника и студент первого курса горного техникума из Черемхово прибыли поездом в Кутулик, а по прибытии пешком направились в деревню Табарсук. В Табарсуке они забрались в пустую школу, где учинили ряд бессмысленных безобразий, часть из которых непристойна и не подлежит описанию. Кроме того, они разбили там патефонные пластинки, разбросали и растоптали ногами приготовленные для школьного утренника новогодние завтраки. Затем ограбили дом председателя и колхозника Вязьмина и ушли в село Большая Ерма, где снова устроились в школе. В Большой Ерме они топили печь классными журналами и тетрадями.

В подробностях это новогоднее приключение удивляет не так грабежами, как цинизмом его юных участников. По сравнению с циничностью некоторых их проделок, не причинивших, кстати, никакого материального ущерба ни обществу, ни частным лицам, грабежи и воровство, то есть все материальные издержки этой истории, какими крупными бы они ни были, кажутся мне сущими пустяками.

Преступники отбывают наказание, но и по выходе их на свободу вина не будет искуп-

лена, если виноватым не почувствует себя каждый, кто знаком с этой или другой, похожей на нее историей.

Именно тут мои заметки подходят, как мне кажется, к логическому концу.

Прогулка последняя

Происшествие в Табарсуке характерно также одной любопытной деталью, которой, как мне показалось, кутуликчане придают явно преувеличенное значение. На стенах, в которых бесчинствовали хулиганы, они оставляли сакраментальную подпись: «Фантомас». И вот это обстоятельство для многих почему-то сделалось объяснением всей этой истории и чуть ли не причиной ее. Ну да, говорили, показывают детям безнравственные заграничные фильмы, и, пожалуйста вам, результаты.

Вот как получается. Легко, весело и просто. Нет сомнения, что подобная мысль — родная дочь глупости и равнодушия, и появилась она специально для успокоения совести. Если не было бы этого забавного фильма, все в Табарсуке случилось бы в точности так, как случилось, разве только на стене вместо Фантомаса хулиганы написали бы что-нибудь попроще.

Дело не в Фантомасе. Фантомас — капля в море причин, из которых являются иногда дикие, порой жутковатые следствия. Поиски ответов на вопросы — как это могло случиться и кто в этом виноват, идут, как правило, по маршруту: родители—школа—ули-

ца. Комиссия идет к родителям, от родителей в школу, из школы на улицу, а на улице, естественно, разводят руками. Тут наша комиссия сталкивается с некоей неопределенностью, которую невозможно ни оштрафовать, ни дать ей выговора, ни поставить на вид, словом, неопределенность эту, называемую иногда средой, никак нельзя привлечь к ответственности.

Нельзя? Но почему нельзя? Можно. Ведь среда — это мы сами. Мы, взятые все вместе. А если так, то разве не среда каждый из нас, в отдельности? Да, выходит, среда — это то, как каждый из нас работает, ест, пьет, что каждый из нас любит и чего не любит, во что верит и чему не верит, и, значит, каждый может спросить самого себя со всей строгостью: что в моей жизни, в моих мыслях, в моих поступках есть такого, что дурно отражается на других людях?

Спросить, ответить на этот вопрос, а потом жить по-новому? Как просто! Как легко на словах и как нелегко на деле.

Да, задать себе такой вопрос — не шутка, ответить на него труднее, потому что в этом случае уже надо понимать, что хорошо и что плохо. Но какая сила нужна, чтобы от ответов и вопросов перейти к действию. Какая для этого нужна совесть, какая вера в лучшее, какое чувство справедливости, словом, сколько для этого нужно всего того, что называем мы духовным богатством человека!

Такого, примерно, рода мыслям предавался я, уезжая из Кутулика.

У блокпоста, в конце Первомайской улицы, мы, несколько пассажиров, расселись на

траве в ожидании электрички. Нас было четверо. Полная, поминутно стонущая и охающая бабка, возвращающаяся в Черемхово из гостей, две девчонки, направляющиеся в Ангарск подавать в техникум документы, и я. Было два часа дня — самая жара, все сидели молча и думали каждый о своем. Бабка одной рукой обнимала зеленое эмалированное ведро, из которого торчали луковые перья и хвосты редиски. Электричка запаздывала, ожидание становилось томительным, но тут неожиданно нас развлекли вертолеты. Они появились из-за березового перелеска и летели над полотном, прямо над нами. Сначала пролетело три, потом еще три, потом еще, и так — пятнадцать вертолетов. Тени их одна за другой прыгали по крышам Первомайской улицы, и от этого казалось, что дома и сама улица тоже пришли в движение. Бабка както украдкой перекрестила себя, а потом совсем уже чуть заметно, одним почти движением — тройку вертолетов.

Да, продолжал я свои размышления, конечно, прежде всего человеку нужны еда, одежда и крыша над головой. Но не хлебом единым жив человек, гласит старинная истина. Истиной она была в старину, истиной она остается и по сей день. И особенное значение она, на мой взгляд, приобретает сейчас, когда крыши наши становятся поновей, еда посытнее, одежда покрасивее.

Пришла электричка, и мы уехали.

15 — 17 августа 1968 г.

О Вампилове



В июльский вечер 1962 года у кирпичных старинных стен Иркутской музыкальной комедии протянул мне руку черно-кудрявый, с азиатским разлетом бровей человек.

— Саша, Вампилов. — Он стоял против солнца и чуть щурил темно-медовые глаза с какою-то донной, зеленоватой подсветкой. — Да, теперь вот и очно.

Он учился в Центральной комсомольской школе, когда я приехал в Иркутск. Но до этой встречи мы кое-что слышали друг о друге от общих знакомых. Теперь он, отучившись, вернулся в «Молодежку» ответственным секретарем.

Лето нашего знакомства было солнечным, с тихими долгими закатами, тонущими в напористом прозрачном холоде Ангары. Саню всегда тянуло к воде: «Может, пройдемся по набережной?»; «Что-то очень уж людно и пыльно стало. Давайте отправимся на залив. У костра посидим, молодость вспомним». Те летние дни наплывают сейчас, как некое беспрерывное праздничное кружение по островам, заливам, по тенистым и сонным протокам. Всплески костров над сырой прибрежной травой, пылкие ночные споры, навсегда забытые возле этих костров. Сколько же, однако, времени успели мы отдать застольям,

дурачествам и ссорам, вряд ли нужным кому-то еще, кроме нас, спорам, которых не передашь на бумаге, тем не менее они живы, осели на сердце, так сказать, неизреченною и неизъяснимою прелестью.

И странно, что наша последняя встреча с Саней, наш последний разговор тоже пришлись на ясный июльский вечер 1972 года — товариществу нашему было отпущено ровно десять лет. Мы говорили о пьесе «Прошлым летом в Чулимске», только что написанной им. Саня курил и, часто затягиваясь, скашивал глаза на сигарету, выпуская дым, как-то зло и толсто напрягал верхнюю сизую губу. Провожал синие завитки сощуренными, посветлевшими до желудевой желтизны глазами. Он был недоволен моими словами, более того, был чрезвычайно раздражен ими. Я же говорил, что Валентина — героиня «Чулимска» — не обладает каким-либо определенным характером, каким-то ярко выраженным нравом, норовом, она просто юна, а юность, говорил я, является лишь возрастным признаком, но, увы, никак не отличительной индивидуальной чертой того или иного характера. Впрочем, добавил я, может быть, подобный обобщенно юный образ позволит различным актрисам по-своему истолковать и показать героиню и, может быть, такая свободно очерченная роль и есть уже драматургическое мастерство.

Саня отмахнул сигарету, посмотрел наконец в глаза:

— А сам-то, сам что написал?!

В то же, начальное, лето нашего знакомства все его пьесы были впереди, а пока он

написал несколько комических сценок, напечатанных в местных газетах, и выпустил книжечку юмористических рассказов «Стечение обстоятельств» под псевдонимом А. Санин. Рассказ, давший название книжечке, начинался словами: «Случай, пустяк, стечение обстоятельств иногда становятся самыми драматическими моментами в жизни человека». Мысль эту он в той или иной мере разовьет в своих пьесах и в полной мере подтвердит своей гибелью.

Через год после нашего знакомства, близко или, как встарь писали, душевно сойдясь, мы надолго отправились с Саней на север области. Прилетели в Нижне-Илимск, старинное просторное село, с тротуарами из лиственничных плах, с широкими чистыми улицами, с густой акацией и старыми тополями возле школы. Село стояло на берегу Илима, теплой и мутновато-желтой речки, пролегшей меж вольных лугов и знаменитых илимских пашен. Сейчас на этом месте, как принято говорить, плещутся волны Усть-Илимского водохранилища.

Многие дни мы ходили мимо высоких осанистых домов Нижне-Илимска, по его лугам и берегам, с какою-то вдруг пробудившеюся жадной пристальностью запоминая, как вьючат лошадей охотники, собравшиеся в тайгу, к Илимской конторе, как полощут бабы белье с длинных, добела выгоревших мостков, называемых здесь лайницами, как пробиваются, выглядывают из песка зеленые кочанчики — будущие сосны.

Зашли и на почту — командировочные утекали, как илимская вода. В пустой гул-

кой комнате жужжали мухи и две дремно-распаренные девицы грызли семечки. Саня спросил:

— Девушки, как вы посоветуете? Откуда быстрее деньги придут: из бухгалтерии или из дома?

Девицы оставили семечки.

— С вашим опытом уже романы надо писать. А как лучше телеграмму начать: срочно шлите или нетерпением жду?

У него уже был черновик «Двадцати минут с ангелом», и Саня соотносил его, так сказать, с беловиком — всегда беловиком! — реальности. Добиваясь естественности звучания и событийной естественности, Саня всегда проговаривал написанные или задуманные сцены: «ставил» для нас, товарищей, реплики, монологи, порой втягивал и нас в участники неких обусловленных им сцен. Мы жили на одной улице, через дом друг от друга. Я бывал у него, он приходил: «Ты как, не очень занят? Хочу посоветоваться». Или: «Давай поразмышляем. Кто есть кто и что из этого выйдет», — и размышляли мы до едкой рези в глазах от табачного дыма. Саня долго колебался, выбирая профессию Шаманову — герою «Прошлым летом в Чулимске». Хотел вывести его журналистом. Мы размышляли: журналист слишком привычен в роли мучимого совестью человека, штатная фигура во всех представлениях, изображающих борьбу за справедливость. «Вот и хорошо, — говорил Саня, — пусть очищается от привычного», — но в конце концов написал Шаманова следователем, значительно, на мой взгляд, углубив этим выбором тему раскаяния.

Изустные, предварительные испытания пьес на прочность, должно быть, помогали Сане и ладно кроить, и крепко шить, добиваясь при этом чрезвычайной, если можно так выразиться, плотности, густоты остроумия. Почти каждая, даже отдельно взятая реплика остроумна, а в сцеплении, соединении они порой оборачиваются чересчур крепким настоем. Его бы чуть разбавить той живой, пленительной сумбурностью, той речевой волшебной невнятицей, которую находим мы в пьесах Гоголя и Островского. Я говорил об этом Сане.

— Не жидко, и то слава богу, — отвечал он.

В Нижне-Илимске же мы услышали историю дома, принадлежавшего когда-то купцу Якову Андреевичу Черных. Купец был суеверен. Ему однажды сказали, что жить он будет до тех пор, пока строится дом. Черных перестраивал его всю жизнь, добавляя балкончики, башенки, крытые переходы. Саня перенесет этот дом в «Прошлое лето...», устами Мечеткина помянет купца Якова Андреевича, а суеверное упорство, с которым он перестраивал дом, превратится в пьесе в символ неустанно возрождающейся человеческой чистоты: хлопоты юной Валентины с калиткой и палисадником, оберегающей цветы от ног равнодушных прохожих.

Улетели из Нижне-Илимска в Кеуль, деревушку на Ангаре, ниже створа Усть-Илимской ГЭС верст на сто. Темная, несущаяся ширь Ангары, темные, неказистые избушки вдоль левого берега, сети на пряслах, туманный холодный быстрый закат — вроде из по-

следних сил он добрался до этой забытой деревушки. И вновь ненасытная пристальность, до странности сильное желание ничего не упустить, все запомнить и сохранить: глухую, согнутую старуху, пустившую нас на ночлег, с неожиданно ясными, младенчески голубыми глазами; чугунное лицо и чугунные плечи здешнего представителя рыбнадзора, обстоятельно объяснявшего: «У меня не купите, никто не продаст. А что это значит? Не евши спать ляжете, и уж сон не сон, а одни сновидения», — мы торговали у него таймешонка; и переменчивую рябь,— от темно-малахитовой до салатной — на траве деревенского выгона. Мы становились как бы совладельцами и этого выгона, и этого заката, и вечерней неоглядно пустынной реки — так соединены мы тогда были, такое было полное, жаркое единодушие, что, пожалуй, те дни можно отнести к лучшим дням жизни.

Днем мы ходили в сельскую библиотеку. Пришли — замок, вернулись через час — замок. Разыскали библиотекаршу. «Молодую, но не в меру полную женщину»— так характеризовал Саня одну из своих героинь — с мордастенькими голосистыми двойняшками на руках. Подержали их, пока она снимала с лоснисто-полной шеи ключ от библиотеки, а потом несколько часов пробыли в маленькой, похожей на баню, избушке с большим и прекрасным подбором сочинений русских классиков в сытинском и саблинском изданиях. Саня с темно-зеленым томиком в щедром тиснении, напечатанным, конечно же, на веленевой бумаге, отошел к окну. Полистал, уселся на лавку:

— Вот тебе и Кеуль. Можем здесь осесть, вступить в колхоз, стать образцовыми книгоношами. Послушай-ка...

Темно-зеленый томик оказался «Выбранными местами из переписки с друзьями». «Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображенье то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти-шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, разбирая по единицам, может вдруг потрястись одним потрясеньем, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». Меняясь, долго читали вслух.

— Хоть Белинский и разругал эти «Места», а слог у них все равно отменный, — говорил Саня, когда мы закрывали библиотеку.

Отнесли ключ, пошли вдоль ручья, остановились у тальниковой, полуразобранной запруды перед впадением ручья в Ангару и все говорили о «Переписке». Сейчас я с некоторым отстраненным удивлением вижу нас тогдашних, у ручья, слышу наши неутомимо-восторженные голоса; глушь, где-то в кустах чисто и редко взбренькивает коровий колокольчик, посвистывает лозина под напором ручья, инспектор рыбнадзора тащит в гору очередного тайменя, а мы говорим о Гоголе — есть некая причудливость в этой картине, но тогда мы — разбуди нас ночью — охотно ввязались бы в любое разговорно-литературное бдение.

На моторке поднялись в Усть-Илим. Он только начинался: несколько палаток у Тон-

кого мыса окружали наспех сделанную волейбольную площадку, а угрюмую, дикую еще громаду Толстого мыса оживляло лишь знамя, поставленное первым десантом.

Мы поселились в двадцатиместной палатке вместе с лесорубами из бригады Валентина Мальцева. В палатке висела старенькая гитара, и Саня в первый же вечер потянулся к ней. Он потихоньку, не мешая намаявшимся за день лесорубам, наигрывал любимую свою мелодию яковлевского романса на слова Дельвига: «Когда еще я не пил слез...» — и, должно быть, парил где-то далеко над этой палаткой, над этим усталым, пропахшим мокрой полынью вечером.

Воскресенья в ту пору на Усть-Илиме все проводили на берегу. Пошли и мы с бульдозеристом Мишей Филипповым, героем нескольких Саниных очерков. Развели костерок, улеглись вокруг и размякали в густом июльском тепле. Вдруг Миша Филиппов быстро, бесшумно вскочил, склонился над речным обрывчиком. Помахал нам: подвигайтесь, мол. К самому берегу подошла стерлядка и розовым кругленьким ртом хватала мошку. Миша шутливо перекрестился и с маху, прямо в робе прыгнул на стерлядку — то ли при падении он оглушил ее, то ли она растерялась, незнакомая еще с человеческим азартом, но Миша ее поймал воистину голыми руками.

Вполне возможно, что стерлядку поманила счастливая рыбацкая звезда Сани — рыба чуть ли не сама шла ему в руки. Удачлив он был и в охоте: ты целый день пробегаешь, даже верещания кедровки не услы-

шишь — пустая тайга, а вернешься к табору, Саня уже сидит, покуривает, и два-три рябчика лежат у ног. Видимо, бесы или ангелы, где-то там, в высях отсчитывающие наши дни, уже определили Санин срок и, смутившись своею поспешностью, щедро вознаграждали его водными и лесными радостями.

Целый день хлебали стерляжью уху.

— Что делается, а? — с какою-то счастливой сокрушенностью вздыхал Саня. — Прямо-таки и сравнить не с чем. Ты смотри, какая рыба! — застывшая к вечеру юшка была уже так плотна и студениста, что ложка торчком стояла.

Саня всегда ел с видимым и завидным наслаждением, с тою восточною медлительностью, которая одна только и уместна за столом. Он даже на аэрофлотские завтраки распространял ее, ухитрялся растягивать их от Иркутска до Омска, так что однажды при посадке поднос с чаем и курицей улетел от толчка к пилотской кабине, и уже от Омска до Москвы Саня ходил по рядам, облитым чаем, с извинениями.

Усть-илимские его очерки спокойны, порой усмешливы, совершенно свободны от тех умильно-экзотических завихрений, которыми изобиловали тогдашние некоторые книги, песни и поэмы о сибирских стройках. Саня рассказывал, к примеру, как женился бульдозерист Миша Филиппов, в весеннюю распутицу вызволивший невесту из родительского дома на бульдозере; о плотнике Мише Ковче, получившем от любимой девушки письмо: «Между нами все кончено, я выхожу замуж»; о плотнике Павле Ступаке, к которому приеха-

ла жена, и как они зажили в отгороженном простыней углу двадцатиместной палатки — во всех историях этих уже просвечивало, проблескивало Санино хлесткое, остроумное слово. Вот он пишет о затоплении старого села Наратай:

«В новейшей истории Наратаю отводилась роль Помпеи, разумеется, без жертв и неожиданностей. Заговорили о Братске, о невиданной стройке, что вот-вот должна грянуть у Падуна. Из Заярска приехал продавец и рассказал, что на Ангаре появились уполномоченные... При упоминании об уполномоченных, которых здесь никто не видел с сорок первого года, старые наратайские браконьеры тонко усмехались».

А вот сцена из первых дней Усть-Илима:

«Громко ахнула дверь, в сумерках к нам подошел топограф Федя Аскеров. После работы Федя успел скатать в Невон, в магазин.

Он подошел к нам, капризный и мечтательный.

— Я шатун, — сказал Федя, — я пашу с утра до вечера... по тайге, в снегу вот по это место. Я шатун.

— Пройди, — сказал Толя, — пройди.

— Ты бурундук, — сказал Федя, — ты ничего не понимаешь. Я хочу чаю».

Из описания женитьбы Миши Филиппова:

«В Макарово ехали засветло. Третьим ехал сват бульдозерист Михаил Шустов, хромой, гоношливый, в леспромхозе — первый звонарь. В предвкушении выпивки он был невероятно оживлен, врал и острил напропалую.

— Жениться, — говорил он, — надо ездить на бульдозере. Уважения больше, и задний ход хороший».

Тяготение к будничности, таящей и прячущей раны души, Саня выразил в своих пьесах с должной искренностью. Кстати, писатели-сибиряки, добившиеся читательского признания в последние годы, добились его именно рассказами о будничной жизни Сибири, но никак не сочинениями о ее романтически-праздничном покорении.

А нашими общими закатами, лугами, илимскими тропами и встречами на них мы и распорядились сообща: написали путевые заметки, пожалуй переполненные пейзажами и этакой печальной созерцательностью, озаглавив их под стать тогдашнему нашему настроению — «Голубые тени облаков». Оказывается, когда мы печатали их, в Иркутск прилетал на день или два О. Н. Табаков. Прочитал наши заметки, запомнил и зимой 1965 года встретил Саню, принесшего в «Современник» «Старшего сына», вернее, вариант пьесы под названием «Нравоучение с гитарой», словами:

— Что, опять голубые тени облаков?

— Да нет, — сказал Саня, — теперь просто тени...

«Провинциальные анекдоты» Саня предварил гоголевскими словами: «Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают». Сам он не только верил в случай, редкое происшествие, стечение обстоятельств, но и охотно шел им навстречу.

Мы жили в Красной Пахре. Февральским

вечером ждал я Саню из Москвы и поеживался от резких внезапных стуков в окно — рвалась, чуть ли не высаживая рамы, метель. Она так нажгла ему щеки, что они темно, припухшие, рдели.

— Ну, чудеса, доложу я тебе, творятся! Нет, при чем тут метель, я и не заметил, как пробежал. В Москве настоящие чудеса в решете. Захожу днем на телеграф, — мы получали почту на Центральном телеграфе, — денег нет, зато взамен несколько писем, стою в углу, читаю и, как писали в прежних романах, дав глазам необходимый отдых, кого, ты думаешь, я увидел?

— Иркутского заимодавца.

— Нет. Арбузова, совершенно не подозревавшего, что у меня при себе, за пазухой, похрустывает рукопись пьесы. Поднимается он по ступенькам, без шапки, в немыслимой куртке, на плече блестит заграничным лаком футляр, то ли с фотоаппаратом, то ли с транзистором. Я к нему: «Здравствуйте, Алексей Николаевич». Он отпрянул — то ли думал, взаймы буду просить, то ли пальто моего испугался. — Саниному черному драповому пальто, которому износу не было.— Вы, говорю, меня не помните, я был на семинаре одноактовиков, не могли бы вы прочесть мою новую пьесу? Спрашивает: большая? Пять листов, говорю. — Первоначально «Прощание в июне» была именно такого размера. — Вздохнул — большая. Посмотрел на меня, посмотрел — я тоже без шапки. Возможно, это и решило дело. Давайте, говорит. — В автобусе, метро, магазине, вот и на почте Саня немедленно снимал шапку — видимо,

его жесткие черные кудри, как бы продутые однажды, освеженные ветрами бурятских степей, не выносили зимнюю жаркую неволю.— Сказал позвонить, как кончится чемпионат мира.

— Какой чемпионат? — удивился я.

— По хоккею. Учти, драматурги любят зрелища, — Саня перепутал дни и позвонил Арбузову в завершающий день чемпионата. Арбузов тем не менее уже прочел «Прощание в июне», пригласил Саню к себе, вместе они посмотрели хоккей, а потом Саня выслушал одобрительные слова, столь важные для него в ту начальную московскую зиму.

Первый театр, куда он принес «Прощание в июне» и «Старшего сына», был театр имени М. Н. Ермоловой, и выбрал его Саня лишь потому, что стоял театр и стоит рядом с Центральным телеграфом, — вышел, востребовав почту, и никуда больше добираться не надо, вот он, театр, в двух шагах. Зашел Саня к ермоловцам, и встретила его заведующая литературной частью Елена Леонидовна Якушкина, чей живой и насмешливый ум, чья сердечность, чье знание московской театральной жизни, не только, так сказать, ее восьмой, надводной части, но и остальной, подводной, таинственно-громадной, так помогли Сане впоследствии.

— Саша, вы выбрали рискованное занятие, — говорила в ту пору Елена Леонидовна. — Я видела многих людей, сочинявших пьесы. Но где эти пьесы? — И влажно блестели ее черные, какие-то ночные глаза с удлиненным и чуть приопущенным вниз разрезом век.

— Должно быть, на вашем столе, — кивал Саня на гору рукописей, как правило, роскошно переплетенных.

Осенью 1965 года мы были в Чите на семинаре молодых писателей. Семинар был наделен правом рекомендовать в члены СП СССР, минуя приемную комиссию. Мы тогда с излишней нервностью относились к этому обстоятельству. Ночью, накануне оглашения списка рекомендованых, мы узнали, что Саня в него не попал: тогдашний и теперешний руководитель Иркутской писательской организации М. Д. Сергеев в семинарских хлопотах и напряжении, видимо, забыл, что у Сани выходила книжка рассказов — непременное условие для рекомендации.

— Глухая ночь, — говорил Саня, — никому ничего не докажешь.— Мы сидели у него в номере, курили. — Может, в коридор выйти, авось что-нибудь...

В коридоре мы встретили Б. А. Костюковского и, предводительствуемые им, в третьем часу ночи стучали в номер Л. С. Соболева. Он открыл. С серебряными взъерошенными висками, на щеках красные рубцы от подушки, он тем не менее улыбался.

— Что за тревога? Что за аврал?

Выслушал, сказал: «Обнародуем», — взял с подоконника большой, так и охота сказать — ведерный термос.

— Садитесь, чаю попьем. — И отпустил нас на рассвете, расспросив и выспросив нас с дотошностью, какую и днем не часто встретишь.

В сухие, безлиственные уже октябрьские дни 1965 года мы поехали с Саней в Буря-

тию, в Баргузинскую долину, — Иркутская студия кинохроники предложила нам написать о долине документальный сценарий. Мы легкомысленно согласились, предвкушая золотисто-фиолетовые, гулко-прозрачные дали и вовсе не представляя, сколь капризны, необъяснимо прихотливы требования нашей кинохроники (недавно я перечитал тот непошедший сценарий, и, как мне опять показалось, он не нарушает каких-либо литературных и изобразительных законов).

По дороге из Улан-Удэ к Байкалу наш автобус забуксовал, завис над краем длинного крутого обрыва, а вернее, над краем маленькой пропасти. Пассажиры, завороженно онемев и привстав, заглядывали в нее. Когда автобус справился, выполз на надежную колею, я спросил у Сани:

— Что ты думал?

— Вот случай, который может не повториться.

Вот и август 1972 года. Я вернулся в Иркутск из поездки, вечером увидел темные Санины окна и вспомнил, что он собирался на Байкал. 17 августа ближе к полуночи телефон зазвонил длинно и громко, как обычно звонят с междугородней.

— Старик, это Глеб. Саня утонул. Я из больницы звоню. Лодка перевернулась. Меня вот спасли, а его нет.— Звонил из Листвянки Глеб Пакулов, иркутский литератор, владелец этой проклятой лодки, которую когда-то мы помогали ему перевозить на Байкал.

Минуту спустя я позвонил главному врачу Листвянской больницы.

— Да, есть у нас утопленник. Да, вроде бы Вампилов.

Приговаривая это «вроде бы», ни на миг не отпуская его от себя, позвонил Распутину — он вернулся в этот день из деревни. Распутин позвонил М. Д. Сергееву, и через полчаса таксист мчал нас по затихшему до утра Байкальскому тракту. С горы на гору, через мосты и мостики — свет фар завидно обгонял нас, и вдалеке взблескивали по падям первой желтизной лиственницы.

Громко, возбужденно говорили о пустяках, как бы условившись не говорить о главном, пока не доедем. В Листвянке со свистом и пылью кружил ветер. И пока мы искали больницу, налетал на нас из-за каждого закоулка и угла. Нянечка или сестра повела нас в чулан. Перед дверью зажгла свечку, сказав:

— Там у нас света нет...

Водоросли в Саниных кудрях, водоросли на руках — никаких «вроде бы» больше не было.

Саню нам не отдали. Мы походили по набережной, постучали в несколько домов, прося перевезти на ту сторону, в порт Байкал, где была Ольга, Санина жена, еще ничего не знавшая.

Хозяева домов отвечали:

— Да вы что, мужики! Не видите, что делается?! — Байкал ревел без передыха, и видно было, как высоко над берегом разваливались, рушились тускло-белые гребни.

Вернулись в город. М. Д. Сергеев пошел писать некролог, а мы с Распутиным закружили черными вестниками. Заехали к Маш-

кину, заехали к Саниному брату Михаилу, геологу, тоже только в этот день вернувшемуся из отпуска. Он вышел в майке, заспанный. От наших слов молча закружился на месте в холодном, плохо освещенном подъезде.

К шести утра, к первому пароходу в порт Байкал, мы вернулись с Распутиным в Листвянку. Холодный ветерок, чуть отдающий ночной пылью, серо-зеленая зыбь — шторм ушел к северу.

Мы еле передвигали ноги, заранее мучаясь тем, что нам предстояло сказать Ольге. Перед домом посидели на камнях. День начинался ясный, солнце в прозрачном байкальском воздухе поднималось по-особому чистое и теплое.

Ставни еще были закрыты. Мы постучали. Выглянула жена Пакулова, Тамара.

— А мужиков наших нет, где-то загуляли.

Ольга вышла на крыльцо, посмотрела на нас:

— Что? Все?

Мы бросились к ней...

В морге я не сразу узнал его — таким матерым, скульптурно-рельефным стало его тело. Обряжали его две женщины: маленькая худая старушка, не выпускавшая папиросы изо рта, и прелестная, юная, голубоглазая — видимо, студентка медицинского института, зарабатывавшая прибавку к стипендии столь печальным образом. Муза драмы и муза комедии, — сказал бы Саня. Старушка протянула мне перочинный нож, часы, просто и устало сказала:

— Там еще деньги были... Ну, спасибо, сынок.

Было пасмурно, но сухо и тихо, когда мы несли его на руках до здания театра, где ждали машины. От оркестра мы отказались, помня Санину печальную усмешку, с которой он написал Сарафанова, музыканта из «Старшего сына», играющего на похоронах.

Должно быть, бесы или ангелы, провожавшие Саню вместе с нами, решили напомнить, что хоронят драматурга, комедиографа: мы забыли веревки, на которых опускают гроб и побежали к кладбищенскому сторожу, которого, конечно же, не было на месте...

Долго я еще, выходя из подъезда, взглядывал налево: вдруг да идет Саня, по обыкновению задумчиво свесив кудрявую голову. И мы пешком отправимся в город, толкуя по дороге о том, о сем. Как бывало когда-то.

Через год прилетел в Иркутск В. А. Андреев, ставивший тогда «Прошлым летом в Чулимске». Мы ходили с ним по утренним улицам, по набережной (Андреев удивлялся: «Почему у вас набережную назвали бульваром?» — не подозревая, что Саня тоже этому удивлялся, и этими же словами), по острову — там, где любил бывать Саня. Только-только разошелся туман. Был влажный холод и холодное ясное солнце. Андреев изредка спрашивал: «А здесь он бывал?» С особой, как бы отстраненной трезвостью я наконец понял: Сани нет и никогда не будет.

Вячеслав Шугаев

Содержание

Стечение обстоятельств

Ранние страницы

Усть-Илим

Александр Валентинович Вампилов

БЕЛЫЕ ГОРОДА

Рассказы, публицистика

Редактор **В. Петров**
Художник **В. Котанов**
Художественный редактор **Н. Егоров**
Технический редактор **Л. Киселева**
Корректор **Г. Голубкова**

ИБ 1359

Сдано в набор 05.10.78. Подписано к печати 02.04.79. А10457. Формат изд. $70x90/_{32}$. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 10,53. Уч.-изд. л. 9,61. Тираж 50 000 экз. Заказ № 4735. Цена 60 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР

390012, Рязань, Новая, 69/12.
Рязанская областная типография



СОВРЕМЕННИК

60 коп.

НОВИНКИ «СОВРЕМЕННИКА»

Казалось бы, да, — и в рассказах, и в пьесах (и даже в газетных очерках — когда Вампилов работал в газете) старые, знакомые истины. Он не пытался выдумывать новые, их нет, он ставил лишь их в нынешние условия, и они начинали звучать по-новому. Вечные, как день и ночь, нетускнеющие, нестареющие темы искусства, которые никогда не перестанут волновать человечество, — жизнь и смерть, любовь и ненависть, счастье и горе, совесть и долг. Каждое новое время приносит в эти понятия свои отличительные признаки, они-то и метят время, но сами эти понятия при всей их сложности и хрупкости остаются неизменными.

Кажется, главный вопрос, который постоянно задает Вампилов: останешься ли ты, человек, человеком? Сумеешь ли ты превозмочь все то лживое и недоброе, что уготовано тебе во многих житейских испытаниях, где трудно стали различимы даже и противоположности — любовь и измена, страсть и равнодушие, искренность и фальшь, благо и порабощение...

Валентин Распутин

